

ВИКТОР ГОЛЯВКИН

ТРИ

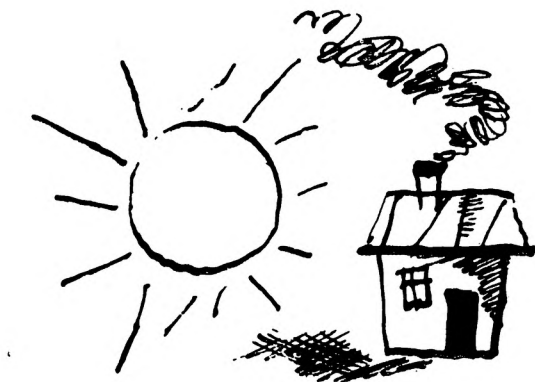


ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВИКТОР ГОЛЯВКИН

ТРИ ПОВЕСТИ



ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1977

Р2
Г 63

РИСУНКИ АВТОРА

70802—102
Г—————172—77
М101(03)—77

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977 г. СОСТАВ.

МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА

1. Я не хочу обедать

Я никогда не хочу обедать. Мне так хорошо во дворе играть! Я всю жизнь бы во дворе играл. И никогда не обедал бы. Я совсем не люблю борщ с капустой. И вообще я суп не люблю. И кашу я не люблю. И котлеты я тоже не очень люблю. Я люблю абрикосы. Вы ели абрикосы? Я так люблю абрикосы! Но вот мама зовёт меня есть борщ, мне приходится всё бросать: недостроенный дом из песка и Раиса, Расима, Рамиса, Рафиса — моих друзей, братьев Измайловых. Мой брат Боба любит борщ. Он смеётся, когда ест борщ, а я морщусь. Он вообще всегда смеётся и тычет себе ложкой в нос вместо рта, потому что ему три года. Нет, борщ всё-таки я могу съесть. И котлеты я тоже съедаю. Виноград-то я ем с удовольствием! Тогда и сажают меня за рояль. Пожалуй, я съел бы ещё борщ. Только бы не играть на рояле.



— Ах, Клементи, Клементи, — говорит мама. — Счастье играть Клементи!

— Клементи, Клементи! — говорит папа. — Прекрасная сонатина Клементи! Я в детстве играл сонатину Клементи.

Папа мой — музыкант. Он даже сам сочиняет музыку. Зато раньше он был военный. Он был командиром

конников. Он скакал на коне совсем рядом с Чапаевым. Он носил папаху со звездой. Я видел папину шашку. Она здесь, у нас в сундуке. Эта шашка такая огромная! И такая тяжёлая! Её даже трудно в руках держать, не то что махать во все стороны. Эх, был бы папа военный! Весь в ремнях. Кобура на боку. На другом боку шашка. Звезда на фуражке. Папа ездил бы на коне. А я шёл бы с ним рядом. Все мне бы завидовали! Вон смотрите, какой Петин папа.

Но папа любит Клементи.

А я не люблю. Я люблю строить дом из песка и друзей люблю, четырёх братьев: Расима, Рафиса, Раиса, Рамиса. Что мне Клементи!

Я играю. И спрашиваю:

— Не хватит?

— Играй ещё, — говорит мама.

— Играй, играй, — говорит папа.

Я играю, а брат сидит на полу и смеётся. В руках у него заводная машина. Он оторвал от машины колёса. И катает их по полу. И это ему очень нравится. Никто ему не мешает. Не заставляет играть на рояле. И потому ему очень весело. Плачет он очень редко. Когда у него что-нибудь отнимают. Или когда его стригут. Он совершенно не любит стричься. Он так и ходил бы всю жизнь лохматый. На это он не обращает внимания. В общем, ему хорошо, а мне плохо.

Папа с мамой слушают, как я играю. Брат катает по полу колёсики. За окном кричат четыре брата. Они кричат разными голосами. Я вижу в окно: они машут руками. Они зовут меня. Им одним скучно.

— Ну всё, — говорю я, — всё сыграл.

— Ещё разик, — просит папа.

— Больше не буду, — говорю я.

— Ну, пожалуйста, — говорит мама.

— Не буду, — говорю я, — не буду!

— Ты смотри мне! — говорит папа.

Я пробую встать. Убираю ноты.

— Я сотру тебя в порошок! — кричит папа.

— Не надо так, — говорит мама.

Папа волнуется:

— Я учился... я играл в день по пять — шесть часов, сразу после гражданской войны. Я трудился! А он?.. Я его в порошок сотру!

Но я-то знал! Он меня не сотрёт в порошок. Он так всегда говорит, когда злится. Он даже маме так говорит. Как может он нас в порошок стереть? Тем более, что он наш папа.

— Не буду играть, — говорю я, — и всё!

— Посмотрим, — говорит папа.

— Пожалуйста, — говорю я.

— Посмотрим, — говорит папа.

В третий раз я играю Клементи.

Наконец-то меня отпускают. Мой брат Боба идёт за мной. Он растерял все колёсики. И ему теперь скучно.

На дворе меня ждут четыре брата. Они машут руками, кричат. Мой дом из песка разрушен. Весь труд мой пропал даром. И всё из-за борща и Клементи! Дом разрушил Рафис — младший брат. Он плачет: братья его побили. Нечего делать! И я говорю:

— Ничего. Новый дом построим.

Я веду всех в магазин к дяде Гоше. Дядя Гоша — папин знакомый. Он нам всё отпускает в долг. Он записывает на листке наш долг, а потом папа платит ему. Так хорошо! Папа так и сказал: «Отпускай им всё. Что они захотят. Сколько им угодно».

Вот приходим мы в магазин. Дядя Гоша нам отпускает конфеты. Мы можем есть их, сколько хотим. Потом папа за всё заплатит.

Раис говорит:

— Я уже всё съел.

Мы опять идём к дяде Гоше. И набираем ещё конфет. Он говорит:

— Не много ли? Приходите ещё.

— Непременно придём, — говорим мы.

Во дворе нас окружают ребята. Мы раздаём всем конфеты. Нам не хватает на всех конфет. Например, Керим без конфет, Маша Никонова и Сашок.

Мы опять идём к дяде Гоше.

— Пожалуйста, — просим мы, — извините. Но нам тут не хватило конфет. Что же делать? Мы очень расстроены. Нам нужно ещё чуть-чуть конфет. Чтобы всем хватило.

— Зачем чуть-чуть! — говорит дядя Гоша. — Берите! И приходите ещё.

Он даёт нам конфет, и все довольны. Теперь всем ребятам хватило конфет.

На улице стало уже темнеть. Фонари зажглись. Скоро небо всё будет в звёздах. Такое в нашем городе небо. Наш город самый красивый. Хотя я не был в других городах. В нашем городе есть бульвар. Там море, корабли и лодки. И виден остров вдали. И нефтяные вышки в море. Я пошёл бы сейчас на бульвар, но вы слышите? Мама зовёт нас на ужин.

И я иду ужинать. Так целый день. Целый день должен я есть!

Я съел ужин, но это не всё. Меня снова ведут к роялю. Папы нет дома, и я говорю:

— С меня хватит.

— Вот отсюда начни, — просит мама, — вот с этой строчки.

— Хватит с меня, — говорю я, — и всё!

— Будем ждать папу, — говорит мама.

Приходит папа. Он весел. Он держит два больших ящика. В этих ящиках мандарины.

— В июне и вдруг мандарины?!

— С трудом достал, — говорит папа. Он открывает ящики. — А ну! Налетайте! Ребятки! Хватайте!

Мы налетаем, хватаем, смеемся. Папа смеётся вместе с нами. Ест мандарины. И говорит:

— Позовите всех.

Я зову братьев Раиса, Рафиса, Расима, Рамиса. И мы угощаем их мандаринами. И ящики быстро пустеют.

Потом братья уходят. И мама уносит пустые ящики. И говорит папе:

— Как с деньгами? Сумеем ли мы всё же съездить на дачу? Хотелось бы. Лето уже проходит.

Я вижу, папа задумался. Он говорит:

— Может, мы сумеем. Но, может быть, и не сумеем. Но если мы даже и не поедem, то не беда — жизнь и так прекрасна!

Но я-то знаю. На даче прекрасней. Там нет рояля. Там гранаты, айва, виноград, инжир... Там море без конца и края. Я так люблю купаться в море! Я так хочу на дачу! Там рядом станция. Там гудят паровозы. Там проходят разные поезда. А когда машешь им вслед, тебе тоже машут из окон вагонов. И ещё там горячий песок, утки, курицы, мельницы, ослики...

Потом я засыпаю на стуле.

Сквозь сон слышу я голоса всё про дачу, про море, про лето...

А утром я просыпаюсь в кровати.

2. Соседи

Фатъма Ханум — это тётя Фатъма, мама братьев Рамиса, Рафиса, Расима, Раиса. Как видит меня, каждый раз говорит: «Ах, Петька, Петька, совсем большой!» Она помнит, когда я был маленький. И теперь удивляется, что я большой. Разве можно так удивляться!

Я ведь рос постепенно. Вот и сейчас, вышел я в коридор, а она говорит:

— Очень быстро растёшь!

— Все растут одинаково, — говорю я.

— Расти, расти, — говорит она.

— Вас мама ждёт, — соврал я.



Мама любит беседовать с Фатьмой Ханум. А Фатьма Ханум — с моей мамой. Они могут часами беседовать.

— Тётя Фатьма, пойдёте к нам!

В который раз мама рассказывает! О том, как я потерялся. Они смеются. Но я не смеюсь. Что мне смеяться! Я это много раз слышал. Раз сто или двести. Очень странные взрослые люди! Рассказывают одно и то же. Разве со мной так бывает? Каждый день у меня куча новостей. Что мне вспоминать что-то старое? Когда кругом одни новости!

Я слышу их разговор.

Мама. Помню, он у меня родился, у него глаза были синие. А потом они стали совсем не синие. Какие-то серые. Так обидно! Вот ведь как бывает!

Фатьма Ханум. Быстро растёт...

Мама: Да, да, да, вот я и говорю... А когда он был маленьким, он был маленьким — вот таким... он тогда отправился гулять, он открыл сам дверь, вышел на улицу, он прошёл тогда весь город, вот так наискосок весь город, и остановился в скверике; как сейчас помню, была суббота, играл оркестр, и под оркестр плясали взрослые. Ему это так понравилось! Он стал вместе со всеми плясать, его так и нашли в таком виде — вот так руки в боки и пляшет.

Фатьма Ханум. Очень весёлый ребёнок!

Мама. Горе мне с ним.

Фатьма Ханум. У меня четыре.

Мама. Я и забыла!

Они смеются. Но я не смеюсь. Ничего нет смешного.

Тётя Фатьма говорит мне:

— А ну Расскажи, как ты там танцевал?

— Я маленький был, — говорю, — и не помню.

— Очень быстро растёшь, — говорит она.

— Сыграй-ка Клементи, — просит мама.

Но я не хочу играть Клементи.

— Твой папа учился, — говорит мама. — Сразу после гражданской войны... Он играл по семь — восемь часов...

Мама играет, а я пою:

Солнышко ясное,
Наша жизнь прекрасная!

Я пою с удовольствием. Я ору.

— Подожди, подожди! — кричит мама. — Сначала начнём, три... четыре!

Солнышко ясное,
Наша жизнь прекрасная!

Я пою во всё горло.

— Нельзя ли потише? — просит мама. — Я даже не слышу рояля.

— Конечно, можно, — говорю я, — но тогда какой смысл?

— Сначала, сначала! — кричит мама. — Нас ждёт Фатъма!

Хорошо, что в дверь постучали. Это старик Ливерпуль. Я сразу узнал. Только он так стучится. Он, когда пьяный, стучит тихо-тихо. Почти неслышно.

Он крутит перед лицом руками. Как будто делает мельницу.

— А где Володя? — говорит он.

— Он не пришёл ещё, — говорит мама.

— Он мне страшно нужен...

— Но его нет.

— Я хотел угостить его...

— Вы же знаете, что он не пьёт.

— Я знаю, но вдруг... он ведь мой сосед... он мне страшно нужен...

— Ливерпуль, Ливерпуль, — вздыхает мама.

— Здравсте! — говорит он Фатъме Ханум.

— Здравствуйте, — говорю я.

— Здравствуй, старик, — говорит он мне.

— Я не старик, — обижаюсь я.

— Это неважно, — говорит он.

— Как же неважно? — говорю я.

— Извините, — говорит он.

— Пожалуйста, — говорит мама.

— Я должен вам денег, — говорит он, — не могли бы вы мне одолжить ещё?

Мама ему даёт бумажку.

— Я вам верну, — говорит Ливерпуль.

— Конечно, конечно, — говорит мама.

И старик Ливерпуль уходит.

У Ливерпуля тонюсенький детский голос, бородка крючком и лысая голова. Это мама прозвала его Ливерпулем, хотя он имел другое имя. Он, кажется, был из Перу, каким-то случаем попал в Россию и навсегда остался здесь жить.

Не люблю я, когда он пьяный. Он тогда машет руками, качается. Словно вот-вот упадёт. Стариком вдруг назвал меня. Вот ещё новость!

Мама беседует с Фатьмой Ханум. Я смотрю в окно. Вижу брата. Он строит дом из песка.

— Что ты торчишь тут? — говорит мама.

— Так, ничего, — отвечаю я.

Я жду папу. Вот сейчас выйдет он из-за угла. У него полные руки гостинцев. Чего только нет там! И мандарины, большие оранжевые мандарины!

А папы всё нету. Всегда так. Всегда его нету, когда я его жду. Но стоит мне отойти от окна — он появится.

3. На балконе

Я иду на балкон. Вижу девочку с бантом. Она живёт вон в том парадном. Ей можно свистнуть. Она глянет вверх. И увидит меня. Это мне и нужно. «Привет, — скажу я, — тра-ля-ля, три-ли-ли!» Она скажет: «Дурак!» — или что-то другое. И дальше пойдёт. Как ни в чём не бывало. Как будто бы я и не дразнил её. Тоже мне! Что мне бант! Будто я её жду! Я жду папу. Он мне принесёт гостинцев. Он будет рассказывать мне про войну.



И про разное старое время. Папа знает столько историй! Никто лучше не может рассказывать. Я всё слушал и слушал бы!

Папа знает про всё на свете. Но иногда он не хочет рассказывать. Он тогда грустный и всё говорит: «Нет, не то написал я, не то, не ту музыку... Но ты-то! — Это он мне говорит. — Ты-то уж не подведёшь, я надеюсь?» Мне не хочется папу обидеть. Он мечтает, чтоб я композитором стал. Я молчу. Что мне музыка? Он понимает. «Это печально, — говорит он. — Ты даже представить себе не можешь, как это печально!» Почему это печально, когда мне совсем не печально? Ведь папа мне не желает плохого. Тогда почему так? «Кем ты будешь?» — говорит он. «Полководцем», — говорю я. «Опять война?» Папа мой недоволен. А сам воевал. Сам скакал на коне, стрелял из пулемёта...

Папа мой очень добрый. Мы с братом однажды сказали папе: «Купи нам мороженое. Но побольше. Чтобы мы наелись». — «Вот тебе таз, — сказал папа, — беги за мороженым». Мама сказала: «Они ведь простудятся!» — «Сейчас лето, — ответил папа, — с чего бы им простудиться!» — «Но горло, горло!» — сказала мама. Папа сказал: «У всех горло. Однако мороженое все едят». — «Но не в таком количестве!» — сказала мама. «Пусть едят, сколько хотят. При чём тут количество! Больше они не съедят, чем смогут!» Так сказал папа. И мы взяли таз и пошли за мороженым. И принесли целый таз. Мы поставили таз на стол. Из окон светило солнце. Мороженое стало таять. Папа сказал: «Вот что значит лето!» — велел нам взять ложки и сесть за стол. Мы все сели за стол — я, папа, мама, Боба. Мы с Бобой были в восторге! Мороженое течёт по лицу, по рубашам. У нас такой добрый папа! Он столько купил нам мороженого! Что теперь нам не скоро захочется...

Двадцать деревьев посадил папа на нашей улице. Сейчас они выросли. Огромное дерево перед балконом. Если я потянусь, я достану ветку.

Я жду папу. Сейчас он появится. Мне трудно глядеть сквозь ветки. Они закрывают улицу. Но я нагибаюсь и вижу всю улицу.

4. Мой папа идёт дирижировать

Я слышу в комнате папин голос.

Папа дома, а я всё торчу на балконе!

А на столе-то! Печенье, конфеты, две банки варенья, два торта, две банки компота, замечательная любительская колбаса, ветчина и яблоки, ещё две какие-то коробки и другие вкусные вещи! Просто целый магазин!

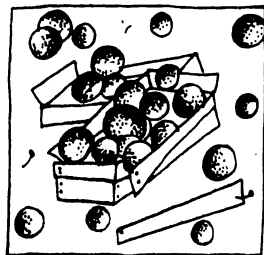
— Вот так да! — говорю. — Как ты здесь очутился?

— Отстань от отца, — говорит мне мама, — он сегодня идёт дирижировать.

Я видел однажды, как он дирижировал.

Папа тогда взял меня с собой.

Я сидел в Большом зале. Все глядели на сцену. Там на сцене был папа. Он стоял спиной к залу, лицом к оркестру. И кругом было тихо-тихо. Потом папа взмахнул вверх руками — и весь оркестр как грянет! Я даже вздрогнул. Я глядел на люстры, на всех людей. Я вертел головой и всё время вставал. «Чего ты скачешь?» — сказали мне. «Я не скачу», — сказал я. Меня вывели силой из зала. «Я с папой», — сказал я, — он там дирижирует». — «А ты не врешь?» — «Что мне врать», — сказал я, — там мой папа». Меня привели прямо к папе. Спросили: «Ваш сын?» Мой папа был мокрый от пота. И волосы папины были мокрые. Я смотрел на него и не мог понять: почему папа мокрый? Папа снял пиджак. Вся рубашка была тоже мокрой. Как будто его водой облили. Он сказал: «Вот какая работа...» Я был так удивлён, что не знал, что ответить.



Всё время твердил: «Пошли... пошли...» — и тянул папу за руку.

Громко плачет сейчас мой брат Боба. Он хочет, чтоб папа его взял с собой. Но папа его брать не хочет. Папа уже брал меня. С него хватит.

Папа. Я сегодня иду дирижировать!

Мама. Да, но эти заплатки...

Папа. Какие заплатки?

Мама. Ты забыл? Твои брюки с заплатками.

Папа. Я ведь стою спиной к людям!

Мама. Я ни при чём. Ты прекрасно знаешь! Помешанный на своих мандаринах! Всю зиму таскал эти ящики! Люди думают, ты сумасшедший!

Папа. Кто думает? Ты мне его покажи!

Мама. Все думают. Разве одни мандарины? Зачем два приёмника? Два патефона?

Папа. Но их же двое? Пусть слушают музыку...

Мама. Очень им нужна твоя музыка!

Папа. Всем нужна музыка.

Мама. Но не в таком количестве!

Папа. Я спешу... я сегодня иду дирижировать...

Мама. Ну так иди дирижируй!

Папа. Выходит, что я не могу дирижировать!

Мама. Хоть раз в жизни купил бы кастрюльку!

Папа. Зачем мне кастрюлька! Сама покупай!

Мама. А, значит, я виновата?.. С моим больным сердцем... с таким человеком... как можно!.. Дай, Петя, воды...

Я бегу за водой на кухню. Даю маме пить. Ей становится лучше.

Мама. Пусть все соседи скажут!

Папа. Я ведь иду дирижировать...

Мама. Пусть все соседи скажут!

Папа. Что скажут?

Мама. Пусть они скажут!

Папа вздыхает. Он говорит:

— Придётся штаны одолжить у соседей.

Мама. Кто одолжит тебе свои штаны?

Папа. Ко мне все прекрасно относятся. Все, абсолютно все! Например, Ливерпуль... нет, лучше я пойду к Али, он ко мне неплохо относится...

Мама мне говорит:

— Петя, слышишь? Вот твой папаша! Не будь таким! Будь толковым. А то, вот точно так же, пойдёшь в запла-тах... куда-нибудь там... дирижировать...

Я говорю:

— Я никуда не пойду дирижировать.

— Ещё неизвестно, — говорит мама.

Папа мой говорит:

— Пойдём, Петя, со мной за штанами.

Мы идём с папой к дяде Али. Дядя Али — это папа Измайлов. Он только что пришёл с работы. Я видел его с балкона. Он даже мне улыбнулся. Конечно, он папе даст штаны. И папа пойдёт дирижировать. Мне тоже нужно к дяде Али. Он обещал меня взять с собой, показать мне вышки, как бурят нефть и фонтан нефтяной. Хотя, правда, фонтан — это редкость. Но, кто знает, может быть, мне повезёт.

5. Папа там, а мы здесь

Я, мама, Боба, старик Ливерпуль, дядя Али, Фатъма Ханум, Рафис, Расим, Раис, Рамис — сидим у приёмника. Сейчас папу объявят по радио. И заиграет оркестр. Хотя папу не будет видно, но мы-то знаем: он там на сцене; он дирижирует этим оркестром. Мы все думаем здесь о папе, а он думает там о нас. Хотя там ему некогда думать, но это ведь ничего не значит. Папа мой выступает по радио. Такого ещё никогда не бывало!



- Долго ждать, — говорит Ливерпуль.
- Сейчас, сейчас, — волнуется мама.
- Молодец Володя, — говорит Фатьма.

В какой раз мама рассказывает:

— Я и не думала, он звонит вдруг по телефону, так и так, говорит, только что я узнал: меня будут транслировать. Я кричу: «Что транслировать?» Он отвечает: «Меня транслировать». Я говорю: «Каким образом?» Он говорит: «По радио». А я всё не пойму, ведь впервые... Когда поняла, так волновалась!

— За такого человека, как Володя, — говорит Ливерпуль, — я с удовольствием выпил бы. За него я готов всегда выпить.

— Опять всё про то! — возмущается мама.

— Нет, за успех, — говорит Ливерпуль. — Я за успех... Я не просто так...

— Да прекратите вы, — говорит мама.

— Сейчас начнётся!

— Нету там ничего, — говорит мой брат Боба.

— Там твой папа, — говорит мама.

— Где же папа, раз там его нет?

— Суета сует, — говорит Ливерпуль.

— Вы опять пьяный, — говорю я.

— Тебя не касается, — говорит он.

— Так-то так, — говорю, — но всё же...

— Понимаешь, это со мной бывает. Не то чтобы каждый день. Но довольно часто. Я не скажу, что это всё здорово. Наверное, это даже плохо...

— Отвратительно! — говорит мама.

— ...но тут, брат, ничего не поделаешь. Тут такое, брат, дело. Привык я — и всё тут! Ну, ты не поймёшь...

— Понимать-то нечего! — говорит мама.

— ... в общем-то это скверная штука. А главное, что бесполезная. Толку от этого нету. Ну совершенно нет толку. Нисколько... Трудно сказать, зачем я это делаю. Но я это делаю. И никому не советую...

— Да прекратите вы! — говорит мама.

— ...ты, брат, не думай, что я несчастливый. Я, может быть, даже самый счастливый. Я видел свет, много разных людей, а теперь я здесь с вами... Твой отец плавал на шхуне «Мария»... Это шхуна была, я вам скажу! Таких шхун поискать на свете! Твой отец там плавал юнгой. До великих событий. Потом эти события — он на коня. Командир эскадрона! Как в сказке!..

— Замолчите вы! — кричит мама.

— Таких людей, — говорит Ливерпуль, — как твой отец, очень мало на свете.

— Что такое, — вдруг говорит Али, — шкала на Париже?

— О! Париж! — говорит Ливерпуль. — Я там не был...

— Почему шкала на Париже? — говорит дядя Али.

— О каком Париже вы говорите? — говорит мама.

— О самом французском, — говорит он.

— Ой! — кричит мама. — Шкала на Париже! Приёмник совсем на другой волне!

Мой брат Боба куда-то исчез. Конечно же, это его рук дело! Каждый крутит приёмник. Все ищут волну. Наконец-то! Мы слышим гром оркестра.

— Какая досада, — волнуется мама. — Володю уже объявили!

— Ура! — кричу я. — Ура!

— Уррра! — кричат братья Измайловы.

— Какая досада, — говорит мама. — Как это можно! Ведь самое главное! — Маме обидно. Она ищет Бобу.

Боба лежит под кроватью. Он чувствует что-то неладное.

— А ну, выходи! — кричит мама. — Сейчас же!

Он не думает вылезать.

— Я жду! — кричит мама. — Давай вылезай.

— Оставьте его, — говорит Ливерпуль.

— Я ему покажу! — кричит мама. — Ведь он ненормальный!

— Я спрошу его, — говорит Ливерпуль. Он подходит к кровати и спрашивает: — Ты варёные калоши не ел?

— Не ел... — отвечает Боба.
— Тарелки в суп не крошил?
— Не крошил...
— Затылком ничего не видел?
— Ничего не видел...
— Какой же он ненормальный?! Вы слышите? Дай ему бог здоровья!

— Ливерпуль, Ливерпуль, — говорит мама, — вы мне ребёнка калечите.

Братья Измайловы поют песню. Под мощный гром оркестра.

6. Воскресенье

В стену к нам постучали Измайловы. Мы всегда стучим к ним, а они стучат к нам. Это наша связь.

Я бегу к ним узнать, в чём дело.

Рамис, Рафис, Расим, Раис — в белых рубашках, в панамках и в синих сандалиях. Дядя Али говорит:

— Как Володя? Не хочет ли он прогуляться с детьми? Такой вечер! Вот мы все готовы.

Мой папа спал. Но он встал сейчас же.

— Да, да, да! — сказал он. — Немедленно! Мы идём прогуляться.

Это так неожиданно!

Я ищу свой костюмчик. Мой брат Боба плачет. Он сам не может одеться.

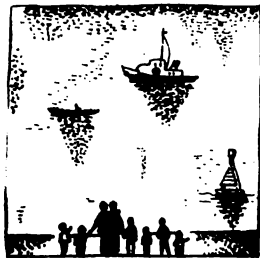
— В чём дело? — говорит мама.

— Скорей, — говорит папа, — вечер чудесный, Али ждёт нас, дети ждут, я пойду умоюсь...

Мой папа идёт умываться.

— Я не пойму, — говорит мама, — он же спал...

Папа мой одевается. Я одеваю Бобу.



— Сумасшедшие! — говорит мама.

Вот и тётя Фатма. Она нас торопит. У них разговоры с мамой. Им гулять некогда. Им нужно поговорить. Все кругом им мешают. Всегда не дают разговаривать.

Мы идём на бульвар всей компанией. У нас замечательная компания! Разве лучше бывают компании? Четыре моих лучших друга — все в белых рубашках и в синих сандалиях. Я в красных сандалиях, а Боба в коричневых. Боба несёт заводной паровоз, а Рафис винтовку. У него замечательная винтовка. Её сделал дядя Али. Он всё может сделать — стул, стол, табуретку... У нас в прошлом году была ёлка огромная. Мы стали ставить её — ну никак! — ёлка всё время падает. «Крест надо, — говорит папа, — где я возьму его?» Мы опять ставим ёлку в бочонок, а ёлка всё время падает. Входит дядя Али, говорит: «У вас доски есть?» Мы говорим: «Какие доски?» — «Деревянные», — говорит он. Я принёс две дощечки. А он говорит: «Толще есть?» Я говорю: «Толще есть». Он говорит: «Тащи их». Он берёт эти доски: раз-два — и крест готов. Мы так удивились. Соседи у нас просто редкие. Мы к ним ходим. Они ходят к нам. Папа музыке учит Раиса, Рамиса, а Расим, Рафис ещё маленькие. А то папа их тоже учил бы.

Мы идём на бульвар всей компанией.

А на бульваре народу! Море как зеркало. Играет музыка. Папа держит меня крепко за руку, а я иду по барьеру. А за барьером море. Там катают на катере.

— Кто со мной? — говорит папа. Он идёт первый на пристань.

Мы садимся в катер. Мотор тарахтит, и мы едем. А я сижу с гармонистом. Он всю играет. И поёт просто здорово:

Любимый город может спать спокойно...

Я тоже пою, поют братья Измайловы. Все поют.

С моря город наш весь в огнях. Будто фейерверк. Очень красиво!

Только жалко, что мало катались.

— Ещё хотим! — кричат братья Измайловы.

Катер подходит к пристани. Брат мой Боба схватился за поручни. Еле-еле его оторвали.

Он идёт и ревёт на весь бульвар.

— Прекрати! — кричит папа. — Мне это не нравится!

Мы заходим в тир.

Папа с дядей Али стреляют. А нам не дают. Мы стоим, смотрим, даже не просим. Мы знаем: нельзя мешать, раз люди целятся.

— Все в десятку, — говорит папа.

Они снова целятся, а мы смотрим.

— А где Боба? — говорит папа.

Мы выбегаем из тира. Папа даже забыл свою премию.

Возле тира толпа.

— Что случилось? — говорит папа.

— Да вот, мальчик тут потерялся. А где живёт, не знает. То есть он номер дома помнит. А улицу он забыл.

— Где этот мальчик?

Да разве увидишь здесь мальчика! В такой толпе! Мы конечно его не видим. Зато мы слышим, как он говорит:

— Я забыл свою улицу...

Ну конечно же это Боба!

Ему говорят:

— Вспоминай, мальчик, это ведь важно.

— Сейчас, — говорит Боба, — вспомню...

Ему говорят:

— Ты не торопись. Вспоминай без волнения.

А он говорит:

— Я совсем не волнуюсь.

Ему говорят:

— Ты кушать хочешь?

— Хочу, — говорит Боба.

— Сыр хочешь?

— Сыр не хочу.

— А конфету?
— Конфету хочу.
— Тебя хорошо кормят?
— Плохо.
— Товарищи! Мальчика плохо кормят! Тебя очень плохо кормят?
— Очень.
— А чем тебя кормят?
— Всем.
— Значит, ты не бываешь голодным?
— Бываю.
— Как же ты бываешь голодным, если тебя всем кормят?

— А я не бываю голодным.
— Ты же сказал, что бываешь.
— А я нарочно.
— Зачем же ты нас обманываешь?
— Просто так.
— Ты всех обманываешь?
— Всех.
— Зачем же ты это делаешь?
— Просто так.
— Смотрите какой! Просто жуть! Ну и ребёнок!

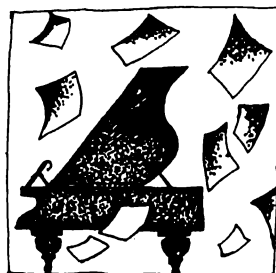
Тогда папа сказал чуть не целую речь. Он сказал:
— Товарищи! Это мой сын. Он сбежал из тира. Давайте-ка мне его сюда! Я его отец. А болтает он здорово. Это уж верно. Вы это сами заметили. И где только он научился болтать! Просто диву даёшься! Я вижу, он вам понравился. Но я вам его не оставлю. Раз уж он мой сын.

Тогда все расступились. Мой папа взял Бобу на плечи. Пожелал всем успехов в работе. И мы пошли домой.

А премия в тире осталась. Тут всё на свете забудешь!

7. Мой папа пишет музыку

Наш папа сегодня дома. Сегодня он не идёт в музыкальную школу, где обычно преподаёт. Сегодня у папы свободный день. Сегодня он пишет музыку. В это время у нас дома тихо. Мы с мамой ходим на цыпочках. Мой брат Боба уходит к Измайловым.



Наш папа пишет музыку!

— Тру-ру-ру! — напевает папа. — Та-та! Та-та-та!

Это правда, я не люблю Клементи. Не очень люблю я музыку. Но когда папа вот так за роялем, поёт и играет, и пишет ноты, — мне кажется, он сочиняет марш. Музыку я не люблю, это верно. Я люблю разные песни. Те, что поют солдаты. И марши люблю, что гремят на парадах. Если бы папа мой написал такой марш! Я был бы очень доволен. Я папу просил об этом. Он мне обещал. Может быть, он сейчас пишет марш для солдат? Может быть, я увижу когда-нибудь целый полк, все с винтовками, в касках — раз-два! раз-два! — все шагают под громкий папин марш!

Как это было бы здорово!

— Ты пишешь марш? — говорю я папе.

— Марш? Какой марш?

— Самый военный, — говорю я.

— Убери его, — говорит папа.

— Марш отсюда! — говорит мама.

Я иду на балкон. Вижу девочку с бантом. Подумаешь, бант! Папа мой пишет музыку! Может быть, марш!

— Тру-ру-ру! — поёт папа.

Ага, слышит, наверное! Пусть она знает. Всё делает вид, что не слышит!

— Трам-там! — стучит папа по крышке рояля.

Это нельзя не услышать.

Она поднимает голову. Но я смотрю в сторону. Пусть она знает!

— Бам! — Папа стукнул по крышке рояля. С такой силой, что я даже вздрогнул.

— Бам!!! Бам!!! Бам!!! — Он стучит кулаком по крышке.

Ага! Ну, каково?

А она только бантом махнула.

Тогда я разозлился и крикнул:

— Эй, ты! Нечего здесь проходить! Слышишь? Нечего!

Расстроенный, я ушёл с балкона. Я вижу, и папа расстроенный. Он сидит, подперев рукой щёку. Такой весь печальный.

— Мама на кухне, — говорит он.

— Зачем мне мама?

— Тогда как хочешь, — говорит он.

Вот и мама. Она говорит:

— Брось ты это... Володя...

— Что бросить-то? — говорит папа.

— Эту твою... симфонию...

— Я же чувствую... тут вот не то... тут не то... а тут — то!

— Ну и брось, раз всё не то...

— Не всё не то...

— Всё равно.

— Как это так всё равно?!

— Я-то тут ни при чём, — говорит ему мама.

— Ты ни при чём, это верно...

— И Петя ни при чём, и Боба.

— И Петя и Боба... — говорит папа.

Он смотрит на нас, а мы на него.

— Дайте мне отдохнуть, — просит папа.

Но ему не дают отдохнуть. К нам звонок. Это Олимпиада Васильевна. Со своим сыном Мишей. Папа будет с ним заниматься.

8. Олимпиада Васильевна и дядя Гоша

Миша кривляется, строит рожи, показывает всем язык. А папа сидит с ним рядом, считает в такт: раз — и, два — и, три — и.

Занимается папа бесплатно. Потому что знакомый.

— Вы золотой человек, — говорит Олимпиада Васильевна.

— Баловник он у вас, — отвечает ей папа.

Она кричит сыну в ухо:

— Где совесть? Где совесть? Где совесть у человека?!

Он перестаёт строить рожи. Но ненадолго.

— Бессовестный! — кричит Олимпиада Васильевна.

— Они все такие, — говорит папа.

— Все бессовестные, — говорит Олимпиада Васильевна.

Почему, думал я, его учат музыке? Почему меня учат музыке? Почему всех кругом учат музыке? Если никто не хочет? Этого я не мог понять!

— Вот тут вам подарок, — говорит Олимпиада Васильевна.

— Бросьте вы это, — говорит папа.

— Нет, пожалуйста, я вас прошу.

— Я вас тоже прошу, — отвечает папа.

— Нет уж, вы позвольте...

Папа смеётся.

Мама моя говорит:

— Он странный. Вы не обращайте внимания.

— Я-то вижу, — вздыхает Олимпиада Васильевна. Она почему-то всё время вздыхала.

За ней приходил её муж — дядя Гоша.

Миша тотчас же вскакивал и во всю глотку вопил: «Конец!»



Он хотел скорее домой.

Дядя Гоша ходил по комнате.

— Где сейчас моряки? — орал он. — Нет сейчас моряков! Это точно. Это ведь факт!

— Что факт? — спрашивал папа.

— Слушайте дальше. Не перебивайте. Вы знаете голубку «Куин Мери»?

— Не знаю, — говорит папа.

— Так вот, я плавал на этой голубке, на этой старой посудине. Под парусами, нет, на всех парах! Мы неслись, я вам скажу, как черти! Сто восемьдесят миль в час! Как вам это кажется? Как это поётся: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, го-го-го!» — так, кажется? Чудесная песня! Мда... так вот, это было зрелище!

— Как это интересно! — говорила мама.

— Я был в Африке, крокодилы так, можно сказать, и лезут, но наш брат, ему карты в руки... ребята с нашей калоши...

— Чего? — спрашивал я.

— Ты помолчи, — говорил он мне. — Так вот, значит, о чём это я? Да! Наш корабль возил опоссумов. Для разных там зоопарков. Вы видели опоссумов? Они вылезали из ящиков, гуляли по палубе, как матросы. Мы кормили их. Вместе с ними резвились... Эти милейшие звери!

— Как они выглядят?

— Очень мило, чертовски мило, носик кнопкой, хвостик — чудесные! А когда я был в Марселе...

— Вы были и там? — удивлялась мама.

— Я был везде! — отвечал дядя Гоша.

— Интересный вы человек! — говорила мама.

Он продолжал задумчиво:

— Я был в Лондоне и в Амстердаме... Забыл, кстати, про опоссумов! Они, черти, жрут шоколад, ха-ха-ха!

Смеялся он долго. Потом вдруг прекращал внезапно. И начинал говорить очень быстро:

— Каир, Стамбул, языки мне даются легко, всем обязан

морю, поездки, лианы, магнолии, кактусы... сербский, немецкий, французский...

— Хватит, — просил папа, — дальше не надо.

— Нет, почему же, я не устал.

— Я понял всё, — говорил папа.

— Ну, хорошо, — соглашался он. — Дети ваши всегда пусть заходят. Прошу! Им нужны сласти. Конфеты и прочее.

— Спасибо, — говорил папа.

— Счёт, как в банке!

— Спасибо, — говорил папа.

Олимпиада Васильевна не слушала. Она ушла на балкон. Она не слушала дядю Гошу. Ей было неинтересно.

Я смотрю, а папа такой усталый! У него глаза закрываются. Он хочет спать.

Дядя Гоша всё ходит по комнате. Он бьёт по шкафу ладонью:

— Как вы так живёте?

Папа. Как?

Дядя Гоша. Ну, у вас, например, нет шкафа.

Папа. Как нет, а это что?

Дядя Гоша. Вот этот старый ящик?

Папа. А что?

Дядя Гоша. Нет, я вас не пойму, ведь вам карты в руки!

Папа. И я не пойму.

Дядя Гоша. Я никогда не пойму, как так можно жить!

Папа. Как?

Дядя Гоша. Вот так.

Мама. Да, да, да... я ему говорила...

Дядя Гоша. Правда, тут роль играет хозяйка...

Мама. Я виновата?

Дядя Гоша. Я уж не знаю...

Мама. С моим больным сердцем...

Папа. Я вас прошу, прекратите!

Дядя Гоша. Ведь вам карты в руки... Новейший шкаф... я в одном доме видел... Я вам добра желаю. Я от души, так сказать. Мне-то всё равно. Но на вашем бы месте...

Папа. Что на нашем месте?

Дядя Гоша. Я купил бы отличный шкаф.

Папа. Ещё что?

Дядя Гоша. Купил бы отличную люстру. Ведь вам карты в руки!

Папа. Скажи, пожалуйста, почему мне карты в руки? Я совершенно не понял.

Дядя Гоша. Ведь ты музыкант. Так сказать, эстетически — музыкальное движение души. Правильно я говорю? Я, брат, всё понимаю. Я вашего брата знаю. Культурный ты человек или нет? Ведь у тебя есть деньги. Ты тратишь их не туда. Понимаешь? Они не туда идут, не туда! Ты подумай, ведь я для тебя, для твоей же пользы, ведь я тебе только добра желаю!

А папа спит.

Он уже ничего не слышит. Так и не узнает он этого. Так и будет он тратить их не туда.

Так и не купит шкафа мой папа. И люстру тоже не купит.

Он спит. И ничего не слышит. А то, что слышал, — забыл. Что же делать. Такой человек мой папа!

Наши гости уходят. Вздыхает Олимпиада Васильевна.

А папа спит.

Я иду закрывать за ними дверь. Даю на прощанье щелчок Мише.

Он кидается дать мне ответный щелчок. Но поздно. Я быстро захлопнул дверь.

— Красивая женщина, — говорит мама. — А Гоша такой романтичный!

А папа спит.

9. Старик Ливерпуль и папа

Папа курил свою трубку. Дым из трубки шёл вверх, к потолку. Старик Ливерпуль дул на чай и грыз сахар. У него все зубы целые. Мама спрашивает всякий раз: «И как это вы сохранили зубы?»



Он постукивает по зубам ногтями и говорит, что ел крабов, омаров и жёлуди.

Папа мой говорит, что он тоже ел жёлуди. Мама машет рукой и смеётся. Не верит она в то, что папа ел жёлуди.

— Дорогой Ливерпуль, — говорит мама, — что за чушь?

Они думали: я сплю, но я не спал, а приоткрыл даже чуточку дверь, чтобы видеть их лица. Старик Ливерпуль любит папу. Когда папа мой плавал юнгой (это было совсем давно), он был в краях Ливерпуля. И хотя это было давно, папа помнит, какие там были деревья, дома, даже небо.

Старик Ливерпуль. Да, да, да, точно такое небо!

Папа. Я же помню.

Мама. Гоша там тоже был.

Папа. Этот Гоша просто болтун.

Мама. Ничего подобного!

Старик Ливерпуль. Где был Гоша?

Мама. Там, где и вы.

Папа. Никогда он там не был.

Мама. Как можно...

Папа. Я совсем забыл. Он там действительно был, успокойся.

Старик Ливерпуль. Был, и слава богу!

Мама. А я что говорю?

Папа. То же самое.

Мама. Ну так вот!

Все молча пьют чай. Только слышен хруст сахара.

Ливерпуль. В мире сейчас тревожно. А когда Гесс перелетел в Англию...

Папа. Это было давно. А вот Гитлер — это уже не Гесс...

Мама. У нас мир с фашистами.

Папа. Какой может быть мир с фашистами! В этот мир я мало верю.

Мама. Как это ты не веришь? Мир есть мир.

Папа. Что верно, то верно...

Почему в мире тревожно? Кто такой Гесс? И ещё этот Гитлер... Всё было так интересно! Но понять я не мог ничего... Ворочается мой брат Боба. Он лежит рядом со мной в этой же комнате. Он встаёт вдруг с кровати, идёт к дверям. Приоткрыв дверь, говорит Ливерпулю:

— А вы можете съесть песок?

Все смеются. Боба бежит обратно.

Мама плотно закрыла двери. Теперь я ничего не вижу. Только кое-что слышу:

— «Мария» утонула в тысяча девятьсот семнадцатом...

— Если Гесс перелетел в Англию, то это значит...

— Чёрт его знает, что это значит, но факт, что он туда перелетел...

Я слышу хруст сахара, вижу омаров в больших красных шапках, шхуну «Марию», Гесса, который летит в свою Англию, сыплет сверху песок на шхуну, и шхуна «Мария» тонет...

10. На дачу!

Мы всё-таки едем на дачу!

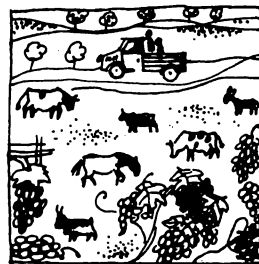
— В Москву бы поехать, — говорит папа.

— В какую Москву? — мама не понимает.

— Мы сошли бы в Москве на Казанском вокзале... что, разве было бы плохо?

— К чему это всё? — мама не понимает.

Мой папа в Москве родился. Он хочет в Москву. Он



давно там не был. Он каждый год в Москву хочет. А мама не хочет. Она здесь родилась. Она любит дачу. И я люблю дачу. Кто дачу не любит! Я люблю и Москву. Кто Москву не любит! Но что же делать! На дачу мне тоже хочется.

Мы стоим возле машины на улице. Все наши вещи в кузове. Мама с Бобой сели в кабину. Папа всё говорит про Москву. Это с ним бывает.

— Я спешу, — говорит шофёр.

Мама вдруг говорит:

— Где подушка и чайник?

Я бегу за подушкой и чайником.

— Не забудь закрыть дверь! — кричит мама.

Подушка огромная. Трудно бежать. Я теряю крышку от чайника.

— Она где-то звякнула, — говорю я.

— Поищите её! — кричит мама.

Нас провожает вся улица. Здесь конечно все братья Измайловы. И другие мальчишки. Они все бегут на лестницу. Ищут там нашу крышку. Шофёр говорит:

— Это мне надоело.

— Вы же видите, — говорит папа.

— Я-то вижу, — говорит он.

— В чём же дело! — говорит папа.

Наконец крышка найдена. Я лезу в кузов. Любой хочет ехать в кузове! Братья Измайловы едут завтра. Они едут в пионерлагерь. Но их повезут в автобусе. Они не поедут в кузове.

— Отойдите! — кричу я. — Ведь это машина! А не какая-нибудь там повозка!

— Ой, — кричит папа, — ведро забыли!

Я бегу за ведром. Подаю ведро папе.

— Ничего не забыли? — кричит шофёр.

К нам спешит Ливерпуль.

— Чуть-чуть не опоздал, — говорит он.

Старик Ливерпуль всем жмёт руки.

Мы трогаем с места.

Все мальчишки бегут за нами. Кричат что-то и машут руками. Один Ливерпуль остался. Он стоит, смотрит нам вслед...

А мы вовсю едем! Ветер свистит. Волосы у папы растрепались. И у меня растрепались волосы. Уже нашего дома не видно. И всех мальчишек, и Ливерпуля...

Папа вдруг посмотрел на меня — я на папу. И мы рассмеялись. Не оттого, что растрёпаны волосы. Не поэтому. А просто так. Это здорово — ехать на дачу, когда папа рядом, вот здесь, на вещах, — вы себе не представляете!

Жаль, что днём едем. Лучше бы ночью. Тогда наши фары горели бы. Но днём светло. Это тоже неплохо. Очень трудно сказать, что лучше!

Вдруг я вспомнил про девочку с бантом... Эх, был бы я пиратом! Вот так мчался бы я в своей шхуне... Бьют волны, и шхуна качается... Там вдали виден корабль... В нём едет девочка с бантом... Со мной целый отряд... Я беру в плен корабль... «Ах, это вы! — скажу я. — Ну, что ж, здравствуйте!» — «Ой! — вскрикнет она. — Дайте мне воды...» Я скажу: «Я вас всех отпускаю. Плывите себе на здоровье! Куда ваши глаза глядят...» Она скажет: «Ой, вы такой благородный! Просто дальше некуда! Я остаюсь с вами. Я влюблена!» — «Хорошо, — скажу я, — пожалуйста, как хотите...»

Стучит ведро о кастрюлю. Звенят ложки и вилки в мешке. Звенит крышка чайника.

Мы выезжаем из города.

Куда ни глянь — вышки. Целый лес вышек. Где-то здесь должен быть дядя Али. Может быть, он меня видит.

Мы едем берегом моря. Лодки в море и на песке. И белые чайки над морем. И сети. И скалы.

Мы едем сквозь виноградники. Блестит дорога на солнце. А по бокам виноградники.

Мы едем совсем рядом с поездом. Мы мчимся, и поезд мчится — кто кого перегонит!

Едут навстречу нам машины. Мы едем навстречу машинам.

Идут навстречу нам люди. Мы едем навстречу людям.
Орёт осёл.

Кричат бараны, и блеют козы.

Кудахчут куры, кричит петух.

Наша дача уже совсем рядом!

11. На даче

На даче у нас виноградники, инжировые деревья и айвовые деревья, а за деревьями и виноградниками море синее, а иногда зелёное, а когда дождь и ветер — серое. Вот какое это море! А песок под ногами горячий. Но к этому я привыкну. В прошлом году мне так жгло ноги — вы себе не представляете! А потом я привык и ходил себе сколько влезет. У нас на даче есть бык. Он в сарае. Его звать Алёша. Я видел его только в щёлку сарая. Огромный бык. Рога — во! Говорят, очень злощий. Тётя Эля, хозяйка наша, рассказывала. Он сломал два забора, двоих забодал, много бед натворил. Бык страшнейший, ну просто жуть! Иногда он протяжно ревёт. Тогда мне становится страшно. Я бегу от сарая подальше. Я хватаю палку и жду. Я готов его встретить отважно. Мы только вчера приехали, а тётя Эля уже нам сказала:

— Смотрите, наш бык опасен!

Мама сказала:

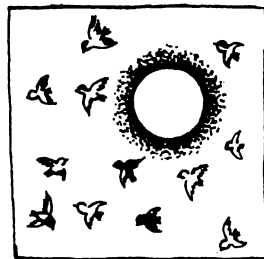
— Как опасен?

— Свирепый он. Не допускайте детей. Чтоб они дверь в сарай не открыли.

Мама сказала нам:

— Слышите?

Я-то дверь не открою. Вот Боба — он может. Что



ему бык! Ему всё равно. Станный он человек! Я не верю, что я был таким, как он. Хотя мне говорят, что я был таким.

Я сейчас стою в винограднике. Вижу поезд вдаль, белый дым. Слышу стук колёс. Кричат, кружатся в небе птицы. А солнце-то, словно костёр, горит! Вся голова моя тёплая. Мне бы в море сейчас!

Но мама меня одного не пускает. Очень жаль, что тут нет со мной братьев Измайловых!

Вон сидит на заборе мальчишка — весь чёрный. Нужно с ним познакомиться. Непременно я загорю, как он. Чего бы мне это ни стоило!

Я стою в винограднике. Это здорово, что мы на даче! Скоро наш виноград поспеет. Мы будем есть его сколько хотим. Пока не наедемся. Папа меня так учил: «Ты берёшь в руки кисть. Вот так, а другой рукой ягоды рвёшь. И кладёшь в рот. Ты набираешь их полный рот. Как можно больше. Потом — раз! — надави все зубами. Ты понял? Вот как едят виноград!» Каждый год он повторял: «Погоди. Пусть он только поспеет. Я покажу тебе, как это делается. Пусть он только поспеет!» — «Это замечательно!» — говорил я. «Ещё бы — говорил папа. — К тому же ты можешь его сушить. Вон на той плоской крыше. Брезент расстели и суши. Зимой всех угостишь». Каждый год я собирался сушить. Но так и не сушил ни разу. В этот год я насушу два мешка, или три, или даже четыре...

Сейчас папа в городе, что же делать! У нашего папы работа. Он не может всё время быть с нами. Приедет он только к вечеру. Я увижу издали поезд. Со всех ног я помчусь к калитке. Чтобы встретить его на дороге.

Я стою в винограднике. Скоро весь виноград поспеет, инжир поспеет, айва поспеет, гранаты поспеют... Я даже стихи сочинил:

Солнце светит, и море сверкает,
И айва и инжир попевает,
И растёт и растёт виноград.
Как я рад! Как я рад! Как я рад!

Мама ищет меня по саду. Она держит за руку Бобу.
Вы слышите? Мама зовёт меня.
Я иду маме навстречу.

12. Мой папа и Алёша

Таким я не видел папу. И мама его не видала таким. Он шёл странной походкой, весь в пыли, а в портфеле, в руках и во всех карманах — не сразу мы поняли, что это!

— Это редиска, — сказал я.

— Редиска?!

Зачем папе столько редиски?

Тут было чему удивиться!

Мы стоим на веранде и смотрим на папу. Он нас тоже видит. Кричит нам:

— Я был на базаре!

Он очень весёлый. Машет портфелем. Редиска летит во все стороны.

Мой папа был пьяный.

Мы это с мамой увидели.

— Что это значит? — кричит ему мама.

А папа — он был таким весёлым! — прошёл весь двор, прямо к двери сарая, открыл эту дверь и позвал быка.

Мама так испугалась! Ещё бы. Тёти Эли нет дома, её мужа нету, оба они в городе — что же делать?

— Иди-ка сюда, — зовёт папа быка.

Бык не идёт.

— Эй, Алёша! — кричит ему папа.

Бык выглядывает из дверей.

— Алёша! Кому говорю!

Тогда бык пошёл прямо к папе.

Он идёт прямо к папе, а папа кричит и ногой даже топнул, и снова редиска попáдала.



Бык спокойно подходит к папе. А папа к земле нагнулся. И собирает редиску.

— Эх, Алёша, Алёша, — говорит папа.

— Уходи! — кричит мама. — Скорей уходи! Пока он ест!

А папа — он не слышит. Он не думает уходить.

— Ешь, ешь, — говорит он Алёше.

Алёша ест с удовольствием.

— Теперь прогуляемся, — говорит папа. Он берёт за один рог быка и тащит его прогуляться. И бык идёт следом за папой.

Папа делал круги по двору. Бык шёл за ним и ел редиску.

— Люблю лето, — говорил папа, — замечательное здесь лето. И солнце здесь замечательное. Но в Москву всё же хочется. Я там родился... Там тоже есть солнце... конечно... но не в таком количестве...

— Ты же пьяный! — кричит ему мама.

— Сейчас я приду! — отвечает папа.

Я хочу бежать к папе. Но мама меня крепко держит за майку.

— Что он делает!!! — кричит мама.

А папа не слышит. Он ходит по кругу. Бык ходит за ним. Ест редиску. И слушает папу.

— Охота в Москву. Там зимой много снега. А летом? Ну летом там тоже тепло. Ну, не так, как здесь. Это верно...

Бык смотрит на папу. Редиска кончилась.

— Нет, — говорит папа, — ты пойми: солнце там тоже есть... но не в таком количестве...

Мне почему-то смешно даже стало. Что папа всё повторяет? Любой поймёт, даже бык. Что он всё повторяет? Бык как заорёт! А папа его хлоп ладонью по шее. И бык замолчал.

— Также мне, — говорит папа, — вздумал орать! Мы все орать можем. Ты лучше послушай. Тебе человек говорит, так ты слушай... И не ори! Так и знай. Что орёшь? Также мне, разорался!

Бык внимательно смотрит на папу.

— Ну что уставился? — говорит папа. — Не написал я хорошей музыки. А почему? Сам не знаю... Хотя мне всегда хотелось... И даже сейчас очень хочется! А солнце здесь есть, это верно... А там не в таком количестве...

Тут во двор входят дядя Багир, тётя Эля и кто-то ещё.

— Вай! — говорит тётя Эля.

Дядя Багир кричит:

— Бык! Смотрите!

— А, — говорит папа, — это вы!

— Осторожно! — кричит ему дядя Багир.

— Чепуха, — говорит папа, — всё чепуха...

Он бросает портфель и идёт прямо к нам.

Бык рвёт папин портфель. Летят ноты по ветру...

— Что с тобой? — Моя мама плачет. Она первый раз видит папу таким. — Что с тобой сегодня?!

— Ничего, — говорит папа, — всё Ливерпуль... Ливерпуль меня угостил... он меня угостил. За успех... он не просто так...

— За какой успех?!

— Ну... как то есть? — сказал папа. — Я за успех...

Папе вдруг стало плохо.

13. Очень маленькая глава

Я пошёл поглядеть виноград. Я-то знал, что он ещё зелёный. Но я хотел ещё раз поглядеть. Вдруг я вижу: бежит по дороге мальчишка, вокруг пыль столбом и жара такая, а он орёт:

— Война! Война!

Мама тоже вышла из дому. Слышит это и мне говорит:

— Вот негодный мальчишка! Вчера тоже кричал: «Пожар! Пожар!» А никакого пожара не было.



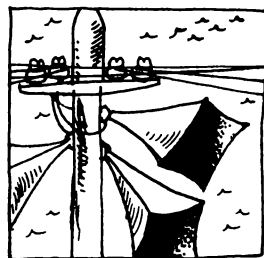
14. Ещё одна маленькая глава

Папе к вечеру стало лучше. Он пошёл на вокзал прогуляться. Он всегда ходил на вокзал прогуляться. Уж очень любил он вокзалы! Сядет там где-нибудь на перроне и всё сидит, отдыхает.

Вернулся он очень быстро. Мой папа вошёл и сказал одно слово:

— Война!

Он не любил говорить много слов. Такой был человек мой папа!



15. Домой

Мы уезжаем с дачи.

Мне очень жалко дачу. Жалко мне виноград: он ещё не поспел... Жалко мне расставаться с морем...

Но мы уезжаем. Завтра едет на фронт наш папа. Мы будем его провожать. А сейчас мы садимся в машину. И едем в обратную сторону.

Мы едем по той же дороге. Опять еду я с папой в кузове. Но почему мне невесело? Мне даже неинтересно. Хотя я еду в том же кузове. И мне могут опять все завидовать...

— Дождь будет, — говорит папа.

— А как же мы?

— Так же, как и сейчас.

— Но ведь дождь...

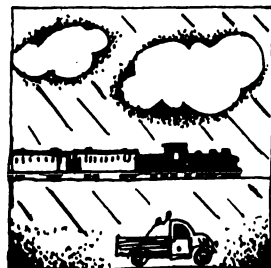
— Ну и что же?

— Но мы ведь промокнем...

— Промокнем...

А небо уже совсем серое. И дождь пошёл.

Папа мой достаёт одеяло. И мы накрываемся. Мы



сидим под одеялом. А дождь хлещет и хлещет на нас. Всюду льётся вода. Наши вещи, наверно, промокли...

Мы почти в темноте. Я гляжу в щёлку и вижу дождь — больше я ничего не вижу.

— Дурацкий дождь, — говорит папа, — чёрт бы его побрал...

— Плохо, — говорю я, — когда едешь и ничего не видишь.

— Это верно, — говорит папа, — не очень хорошо...

— И когда дождь — тоже плохо.

— Тоже плохо, — говорит папа.

— И когда ноги мокрые.

— Тоже верно, — говорит папа.

— Почему ты так мне отвечаешь?

— Как?

— Ну как-то скучно...

— А тебе весело?

— Нет, мне почему-то невесело...

— Так вот и мне почему-то невесело.

— Потому что дождь?

— И дождь и война. Всё вместе.

— Но мы победим? Ведь верно?

— А как же!

— Эх, — говорю, — интересно всё же! Трах-бах! — самолёты, танки...

Одеяло с нас чуть не свалилось. Папа поправил его и сказал:

— Ну, ну, ну, не махай руками.

— Тебе каску дадут? — говорю.

— Дадут, — говорит папа, — всё дадут.

— Она ведь, наверно, железная. Даже стальная. Как ты думаешь, каска стальная?

— Стальная, — говорит папа.

— Ты ходи в каске, — говорю, — раз она вся стальная.

— Обязательно, — говорит папа.

А дождь всё льёт и льёт... А мы всё едем.

16. До свидания, папа!

Я, мама, Боба стоим на балконе.

Мы глядим в темноту — всё вокруг темно, в нашем городе затемнение. Там, в темноте, мой папа. Мы слышим папины шаги, мне кажется, я его вижу, вот он обернулся, махнул нам рукой... Он только что вышел из дому. Только что с нами простился. Он уходит всё дальше, туда, в темноту.

— До свидания, папа! — кричу я.

— До свидания, папа! — кричит Боба.

Только мама стоит с нами молча.

Я кричу в темноту:

— До свидания!

Боба машет двумя руками. Темнота-то какая! А он всё машет. Будто папа его увидит...

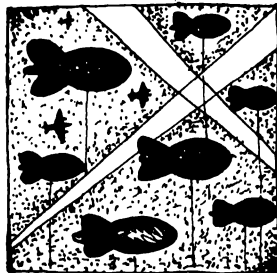
...Шагов папы не слышно. Наверное, он свернул за угол.

Мы с Бобой кричим:

— До свидания, папа!

Мой папа ушёл на войну.

Мы уходим с балкона.

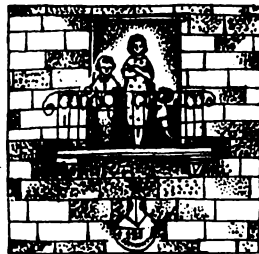


17. Папы нету

С утра наш телефон звонит. Все спрашивают: «Уехал?» — «Вчера, — говорю, — уехал». — «На фронт?» — спрашивают. «На фронт», — говорю.

«Как жаль, — говорят, — не успели проститься!»

Быстро мой папа уехал. Никто не успел с ним проститься.



Звонят и звонят.

Мамы нету.

Я всем отвечаю. «Как, — говорят, — уже уехал?» — «Вчера, — говорю, — уехал». — «На фронт?» — говорят. «На фронт», — говорю.

Опять звонок.

— Ваш отец дома? — спрашивают.

— Нет, — говорю, — он уехал.

— А когда приедет?

— Нескоро.

— А куда он уехал, если это не секрет?

— Это совсем не секрет. Он на войну уехал.

— На какую войну?

— Вы что, не знаете, что сейчас война?

— Некрасиво с его стороны, некрасиво!

— Что некрасиво?

— То, что он уехал.

— Почему же некрасиво?

— Он мне должен, а сам уехал.

— Чего должен?

— Кое-что должен.

Тут я прямо растерялся. Просто не знал, что ответить. Словно папа сбежал на войну от него. Просто меня зло взяло.

— Кто, — спрашиваю, — говорит?

— Не узнал, карапуз? Ну, будь здоров!

Теперь узнал...

Это дядя Гоша.

Когда меня раньше спрашивали: «Ты кого любишь?» — я отвечал:

— Папу, маму и дядю Гошу.

Но это было раньше.

18. Я вижу папу

Мы с Бобой едем в поезде. Мы едем с ним в Баладжары к папе.

Всё так быстро случилось! Так неожиданно! Вдруг звонит папа. Я сразу не понял, кричу:

— Что вам нужно?

А он говорит:

— Мне нужен Петя.

Я кричу:

— Петя вас слушает!

А он говорит:

— Папа вас тоже слушает.

Я как заору:

— Где ты, папа?

Он говорит:

— Недалеко.

Я кричу:

— Как на фронте?

А он смеётся.

— Мы ещё, — говорит, — не на фронте. Мы по дороге на фронт. Эшелон наш пока в Баладжарах. Мы здесь пока задержались. Как там у вас? Всё в порядке?

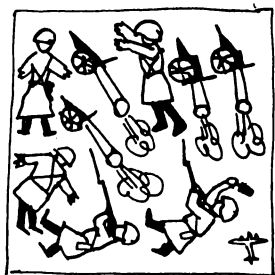
— Конечно, — кричу, — всё в порядке!

Папа всё маму ждал. А её не было. Тогда папа сказал, что он всех нас целует, чтобы мы были дружные, чтоб я слушал маму и Боба чтоб слушал, и папа повесил трубку.

Значит, папа от нас совсем близко! То есть на первой станции. Там, наверное, пушки и танки. Целый поезд военных. Папа не был военным, когда уезжал. Он был в своей старой одежде. И пистолета у папы не было. И никакой каски не было. А сейчас он, наверное, в каске. И пистолет на боку. Поглядеть бы на папу!

Но папа сейчас в Баладжарах.

А я здесь сижу. Просто глупо, когда папа там, а я здесь.



Тем более он с целым войском. Тем более он в Баладжарах. Прямо, можно сказать, совсем рядом!

Я говорю Бобе:

— Слушай, ты можешь спокойно сидеть?

— Где сидеть? — спрашивает Боба.

— Ну, ничего не трогать.

— Чего не трогать?

— Ничего, — говорю, — не хватать и не трогать, а просто сидеть можешь ты или нет?

— Почему? — говорит Боба.

— Я к папе еду!

— И я хочу к папе, — говорит он.

— Ну тогда, — говорю, — собирайся! Быстрой!

...И вот мы с ним едем в поезде. Правда, мы с ним разбили копилки — его мопса и мою кошку. Попадёт нам за это от мамы. Но зато мы купили билеты. Мы едем с настоящими билетами. Как настоящие пассажиры. Нам совсем не жалко копилочек.

Очень медленно едет поезд. Ползёт еле-еле. Скорей бы! А то папа нас не дожждётся. Уедет он со своим войском.

Боба заснул. Пусть спит, раз человек хочет спать.

Я смотрел в окно, а потом перестал, просто мне не до этого. Здорóво, что мы сейчас едем к папе! Он, наверное, удивится, скажет: «Как это вы вдруг здесь?!» Я скажу: «Я уже вовсе не маленький. Ты мне сам говорил. В чём же дело?» Папа, когда уезжал, сказал, что я, в общем, уже вполне взрослый, поскольку война и поскольку я старший. Что уж тут нас ругать! Тут ругай не ругай, всё равно. Раз приехали.

Я стал думать про папу. Как папа мне рисовал корабли, такие замечательные, с парусами. Лучше всех кораблей была шхуна «Мария». Тут папа вовсю постарался. Ведь он плавал на этой шхуне. Он её точь-в-точь знает. «Я не художник, — говорил папа, — но я постараюсь». Он так всегда говорил, когда мне рисовал. Но лучше этой шхуны он ничего не нарисовал. Когда он нарисовал её, я подумал:

«Вот так не художник! Настоящий художник». Вы бы видели этот рисунок. Замечательный был рисунок. Я его променял на мяч. Если бы это был плохой рисунок, разве мне дали бы мяч? Ни за что бы не дали. Вот какой это был рисунок!

Потом я про другое вспомнил. Как папа войну рисовал: идут в бой солдаты, кругом палят пушки и много убитых. Он всех солдат рисовал в больших касках. В большущих таких зелёных касках. Но ведь их ВСЁ РАВНО убивали. Хотя все они были в касках. Назвал это папа «Баталией».

Я долго думал про это.

Как-то я не могу не думать. Я всё время чего-нибудь думаю. Правда, чаще всего чепуху разную, иногда сам удивляюсь — как я такое думаю. Какой-то я, в общем, задумчивый. Только когда я в футбол играю, или когда в воду прыгаю, или когда пою песни, тогда я ничего не думаю. Я тогда просто прыгаю в воду, играю в футбол и пою песни.

Я всё думал и думал, и Боба проснулся.

— Это что, — говорит, — куда мы едем?

— Мы, — говорю, — едем к папе.

— А куда, — говорит, — мы к папе едем?

— Мы, — говорю, — едем в Баладжары.

— Я, — говорит, — спать не буду, раз мы едем в Баладжары к папе. Я посмотреть хочу, как мы подъезжать будем. Я папу в окошко увижу.

Он посидел, посидел, а потом говорит:

— Баладжары какие?

— Большие, — говорю.

Тогда он совсем успокоился. И стал в окно смотреть. Смотрел он, смотрел и опять заснул.

Качается поезд ужасно. Любой тут заснёт. Это я такой, в общем, выносливый. Как Чапаев погиб, слышали? Часовые-то все уснули. Белые к ним подкрались и всех — раз! раз! — закололи. И на Чапаева бросились. А Чапаев-то спал, и чапаевцы спали. Проснулись — кругом стреляют. Совсем близко белые. Оттого и погиб Чапаев. А то он никогда не погиб бы. Он до сих пор бы жил. Может быть, он

пришёл бы к нам в гости. Чтоб побеседовать с папой. Спросил бы меня: «Ну, как живёшь?» — «Хорошо живу, товарищ Чапаев!» — сказал бы я. «И живи на здоровье! — сказал бы Чапаев. — Ещё лучше жить будешь!» — «Товарищ Чапаев, — сказал бы я, — как бы мне стать таким, как вы? Очень хочется мне стать Чапаевым!» Что бы он мне ответил? Он, может быть, стал бы рассказывать. Про разные конные атаки. Как скакали они вместе с папой впереди всего конного войска.

Мне спать нельзя. Я могу Баладжары проехать. Как-никак, всё же первая станция. Я, в общем-то, очень выносливый. Эх, быть бы мне часовым! Дали бы мне винтовку. Глядел бы я вдаль. Я бы зорко глядел. Никогда не подвёл бы Чапаева...

...Вон дядька в углу спит. Рядом с ним корзины. Я стал думать, что там в корзинах. Сейчас все набирают продукты. Несут и везут что попало. Там может быть:

индюки,
мыло,
сахар,
гуси,
курицы,
утки,
зайцы и поросята,
маленькие козлики (хотя они могут туда не поместиться),
варенье,
печенье,
яблоки,
груши,
конфеты,
колбаса,
лук,
огурцы,
селёдка...

...Надоело мне думать. Откуда я знаю, что там может быть!

Поезд стал подъезжать к Баладжарам. Я разбудил Бобу, и мы пошли.

Рельсов-то сколько! Гудки, свистки. Играет где-то гармошка. Поют песню:

Любимый город может спать спокойно...

Мы с Бобой идём вдоль большого состава. Во всех вагонах военные. Очень трудно найти здесь папу!

Скоро нас окружили военные. Один дал нам кусок колбасы. Замечательная была колбаса! Я такой колбасы никогда не ел. Настоящая военная колбаса! Мы с Бобой её сразу съели.

Мы хотели дальше идти. Искать папу. Но тут паровоз загудел что есть силы. Все стали садиться в вагоны. Поезд тронулся и пошёл, сначала тихо, а дальше быстрее и быстрее.

И тут я увидел папу.

Это был папа, честное слово! В военной форме, в пилотке. Боба не видел его, а я видел. Мой папа стоял на подножке вагона. Он, кажется, нас заметил, даже крикнул нам что-то. Но я не расслышал, что он крикнул. Вагон быстро промчался мимо. Я уверен, что это был папа. Он махал нам, и я побежал за вагоном, а поезд уже вовсю мчался...

19. Обратно домой

Обратно мы шли по шоссейной дороге. Я думал, так будет быстрее. Сначала я пел: «Солнышко ясное, наша жизнь прекрасная!» Потом на спине тащил Бобу.

Я не мог его долго тащить, и мы сели на камень. Кругом жёлтая степь. Вся трава сгорела от солнца. Мчатся мимо машины. Проехал танк.



Боба как заорёт:

— Папа едет! Вон папа едет!

Он решил, что папа в танке. Почему он так решил, я не знаю. Он стал так орать, что я думал, он лопнет. Хотел бежать следом за танком.

Вы бы видели, как он орал, — грузовик даже остановился. Шофёр говорит:

— Вы, ребята, чего?

— Мы, — говорю, — домой идём.

— А малыш чего?

— Папа наш в танке уехал, — говорит Боба.

— Врёт он всё, — говорю, — ни в каком танке он не уехал. Он в вагоне уехал.

Шофёр говорит:

— Всё ясно, хотя не совсем. Ну, садитесь, живо!

Мы сели к нему в кабину. И во весь дух помчались.

— Значит, вы здесь одни, — говорит шофёр.

— Мы, — говорю, — к папе ездили. Мы провожать папу ездили.

— Ах вот оно что! — говорит шофёр. — А мама где?

— Мама дома, мы сами пошли.

— Ну и ну! — говорит шофёр.

— Папа наш — капитан Красной Армии, — говорю.

— Совсем хорошо, — говорит шофёр.

— Он с Чапаевым воевал, — говорю.

— Да ну! — говорит шофёр.

— Честное слово! Воевал он с Чапаевым, а Чапаева потом убило...

— Прямо с ним рядом и воевал?

— А как же, — говорю, — отдельно, что ли, конечно рядом!

— Интересно, — говорит шофёр.

Ему очень понравилось, что мой папа с Чапаевым воевал. Только он немножко не верил.

— Что, не верите? — говорю. — Очень даже напрасно! А ещё папа был моряком. Он на шхуне «Мария» плавал. Он

эту шхуну мне рисовал. Замечательная была шхуна! Парусов — тысяча! Мачты — во! — громадные такие мачты, а нос длиннющий-длиннющий... Только это давно было...

— Ну и ну! — говорит шофёр.

— А вообще папа мой не военный. И не моряк. Это раньше он был моряком. А сейчас папа мой музыкант. Он даже музыку пишет. Только у него не очень получается. Но он всё равно пишет. А мама говорит: не стоит, раз не получается. А вы как думаете, стоит?

— Ну и врешь же ты всё, — говорит шофёр. — Вроде маленький, а врать горазд. И шхуну приплёл, и Чапаева, а тут ещё эта музыка...

— А вы, — говорю, — у Ливерпуля спросите, он вам скажет.

— У кого?

— У Ливерпуля.

— Что это за Ливерпуль такой?

— Как, — говорю, — что такой? Ливерпуль — это Ливерпуль...

— Я, — говорит, — с тобой разговаривать не буду, если ты мне будешь глупости говорить...

Я говорю:

— Вот приедемте, я вас с ним познакомлю.

— С кем?

— С Ливерпулем.

— Что это, попугай такой, что ли?

— Не хотите, не верьте, — говорю, — как хотите.

— Да ладно уж, — говорит шофёр.

— Вы что везёте? — спрашивает Боба.

— Песок, — говорит шофёр.

Боба его про песок стал расспрашивать: что за песок, есть ли там ракушки, куда этот песок везут.

Шофёр ему отвечал всё в шутку, и Боба был очень доволен.

— Я, — говорит Боба, — хочу туда, в кузов, в песок, а вы здесь езжайте, разрешите мне, пожалуйста, в песок.

Ему, конечно, не разрешили, и он всё дулся.

Шофёр нас довёз до дому. Пожал мне и Бобе руки, передал привет Ливерпулю. И мы домой побежали.

Ой, что тут было! Наша мама вся совершенно бледная. Сидит и плачет.

В это время мы входим.

Мама. Где вы были?

Я. У папы. Там нас колбасой накормили.

Мама. Какой колбасой?!

Боба. Ливерной.

Я. Там нас ливерной колбасой накормили.

Мама. Кто накормил?

Я. Мы ездили к папе...

Мама. Каким образом?

Я. На поезде.

Мама. Боже мой!

Я. А обратно мы шли пешком...

Мама (*кричит*). Откуда вы шли пешком?!

Я. Из Баладжар.

Мама. Из Баладжар?!

Я. Я видел папу...

Боба. Я видел танки!

Мама просит воды. Маме плохо. Я бегу за водой на кухню.

20. В кино

Целый день мы возились в песке. Хотя мне надоел песок, но что же делать? Нас не пускают дальше двора. Всё за то, что мы ездили к папе.

Мы были грязные, это правда. И мама нас стала ругать.

— Неужели нельзя, — говорила она, — так играть, чтобы оставаться чистыми, опрятными и культурными детьми, тем более, что отец на фронте?

Это было неинтересно. Мы это уже сто раз слышали.



«Играть целый день в песке, когда война и отец на войне... Разве нельзя, — думал я, — играть в песке, если даже война?»

А мама продолжала:

— Этот маленький — понятно, но ты-то что там нашёл?

Что я там нашёл? Ничего не нашёл. Что там можно найти? Не берут же меня на фронт!

Наконец мама сказала:

— Вот что. Я дам вам деньги. Идите в кино.

Это было другое дело. Мы с Бобой сейчас же помчались в кино.

Мы сели с ним в первый ряд. Я люблю первый ряд — как-никак, не последний.

Сначала журнал показывали. Интересный журнал, про войну — стрельба, взрывы, танки, — война, в общем, самая настоящая.

Показывали красных конников.

Показывали, как горит город.

Показывали военных в землянке.

И вдруг смотрю — папа!

Сначала я не узнал его, он стоял, нагнувшись над картой, а рядом ещё военные, и все на карту смотрят, потом папа взглянул на меня, и я сразу узнал его и на всё кино крикнул:

— Папа!

Вокруг меня зашикали. «Тише, — говорят, — не мешайте смотреть картину, какой тут может быть папа!» А один говорит: «Очень даже возможно; напрасно вы, граждане: может, и впрямь он отца увидел. Может, отец его киноартист». Но тут опять зашикали: «Что вы, — говорят, — тут глупости разные говорите, какой тут может быть киноартист, когда это самый натуральный киножурнал и никаких тут киноартистов нет». Тогда тот дядька сказал: «А может быть, наоборот: может быть, он отца увидел, и не киноартиста, как я предполагал, а самого что ни на есть, как вы давеча сказали, натурального, фронтового отца». Тут

все опять зашумели, прекратите, говорят, это безобразие, что за шум, где директор и всё такое.

И стало тихо.

Я всё глядел: может, папу опять покажут.

Но больше не показали.

Потом журнал кончился, свет зажёгся.

Тот дядька, который меня защищал, говорит:

— Ты правда там отца увидел?

— Ну да! — говорю. — Ну да!

— Вот это интересно, — он говорит, — любопытный случай! Просто, можно сказать, исключительный случай. Сын видит отца в кино. А отец на фронте. Нет, это редкость, товарищи! Ты, сынок, вот что сделай. Картина кончится, а ты останься. Ещё раз на отца погляди. А я там объясню, в чём дело. Чтоб тебя, значит, не трогали.

Мы с Бобой конечно остались.

Позже мы пришли с мамой. От папы ведь не было писем. Мы так волновались за папу!

Один раз я шёл мимо кино. Меня подозвал контролёр.

— Прости, мальчик, — сказал он, — не твой ли отец...

— Да, да, да, — сказал я, — мой, мой... — Я сразу понял его.

— Так что вот, — сказал он, — прошу, милый, в любой день, в любой час дня и ночи — прошу! — И он показал рукой в зал.

С тех пор я ходил каждый день в кино. Каждый день я видел папу. Папу видел не только я. Все мальчишки со всей нашей улицы, и конечно братья Измайловы, все ходили со мной смотреть папу.

— Зови ещё, — говорил контролёр, — всех зови, пускай смотрят!

Это был замечательный контролёр!

21. Про отцов и про нас

Я уже в третьем классе. У нас новый учитель. Он похож на Ливерпуля. Он тоже лысый, но без бороды.

Мы сидим и глядим на Пал Палыча, а он ходит по классу с речью:

— ...Таким образом, дети, идёт война. Отряды наших бойцов бьются на всех фронтах; рабочие, интеллигенция помогают фронту. Что требуется от вас, когда ваши отцы с оружием в руках бьются с врагом, чтобы дать вам возможность вот так сидеть здесь, как вы сейчас сидите, и учиться?

Что требуется от вас?

От вас требуется взять у меня те знания, которые я накопил за свои долгие годы. Это всё, что пока от вас требуется.

А что требуется от меня?

От меня требуется, разумеется, передать вам эти знания, которые я накопил. Я думаю, вы меня поняли. Я думаю, мы создадим с вами ту рабочую обстановку, которая нам для этого потребуется. Вы должны помнить, что ваши отцы, ваши старшие братья сдерживают несметные орды захватчиков, которые рвутся сюда, в наш город. Ваш фронт — здесь, в тылу, вот эти парты — ваши позиции. Только своей учёбой, а не кривляньем и ленью вы добьётесь уважения. Этим вы помогаете фронту, своим отцам и старшим братьям. Вы должны чувствовать эту ответственность. Ваш враг не только Гитлер, не только фашиствующее отребье, посягнувшее на нас, ваш враг — это лень, кривлянье, безответственность, беспринципность, безволие, безалаберность, бездумье и так далее. Вы должны помнить это.

Пал Палыч подошёл к окну.

— Что я вижу там? — спросил он.

Мы стали смотреть в окно, но ничего такого там не увидели.



— Я вижу там нашу землю. Ваши отцы бьются на- смерть за эту землю. Отцы ваши не заслуживают этих, с позволения сказать, подарочков в виде, как вы сами понимаете, двоек и единиц, и я могу надеяться, могу думать, что это будет у нас редчайшим явлением в нашей практике. Могу я надеяться? — спросил он.

— Можете! — заорали мы вразброд.

— Очень хорошо, — сказал он, — приступим к уроку.

Я как раз заканчивал рисунок: отцы наши мчатся на конях с шашками наголо, а Гитлер от них удирает. Я видел, как рисуют Гитлера в газетах, и, по-моему, здорово похоже получилось...

22. Двойка

Двойку всё-таки я получил. Хотя я вовсю старался. Почти всё у Мишки списал.

Двойки я получал и раньше. Но то было раньше, а то теперь. От папы давно нет писем. С того дня, как он уехал. Я всё боялся: придёт письмо, папа спросит в письме, как там Петя, как учится, что я отвечаю?

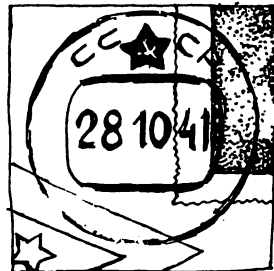
Нужно было исправить двойку. Ждать я больше не мог.

Я решил объяснить всё Пал Палычу.

— Мда... — сказал он. — Семь ошибок в одном изложении. Но выход есть. Вот возьми эту книжку. Вот этот рассказ. Ты прочтёшь его дома. Разок или два. Но не больше. Закроешь книжку и будешь писать. Только чур — не заглядывать. Понял?

— А кто будет смотреть, заглядываю я или не заглядываю? — сказал я.

— Никто не будет смотреть. Не такой ты уже маленький. Взрослый парень. Чего за тобой смотреть!



— Как же так? — удивился я. — Я ведь буду смотреть.

— Не думаю, — сказал он.

— Почему же?

— Потому что на честность. Такой уговор. Как же можно смотреть! Тогда будет нечестно.

— Вот это да! — удивился я.

— Я тебе верю, — сказал Пал Палыч. — Я доверяю тебе — вот и всё!

— Так-то так, — сказал я, — но кто будет знать?

— Можно считать, — сказал Пал Палыч, — что разговор у нас закончен.

— Конечно, конечно, — сказал я, — конечно...

Я, наверно, был очень растерян. Такого ещё я не видел. Это прямо-таки удивительно!

Я прочёл рассказ только два раза.

Больше я не открыл книжку. Хотя мне очень хотелось.

Я писал с трудом.

Так хотелось мне заглянуть в рассказ! Даже в классе писать было легче. Там можно было спросить у Пал Палыча. Можно было списать у соседа.

А здесь было всё на честность.

Я всё написал, как запомнил. Пал Палыч прочёл и сказал:

— Человек ты, я вижу, честный. Так и пиши отцу.

— А как же двойка?

— Это не самое главное. Можешь считать, что исправил.

— А откуда вы знаете, — спросил я, — честный я или нечестный?

— Сразу видно, — сказал Пал Палыч, — по изложению видно.

23. Два письма

Смотрю я на наш почтовый ящик и вижу: там что-то белеет. Что-то есть в нашем ящике, что-то лежит там...

— Мама! Мама! — кричу. — Что-то в ящике есть!

Я ведь могу посмотреть, что там есть, а сам на месте стою и кричу:

— Мама! Там что-то есть!

И вот мама подходит к ящику, вынимает оттуда одно письмо и второе письмо — целых два письма! Она прижимает к груди эти письма и говорит: «Боже мой... боже мой...» — и идёт быстро в комнату. Я говорю: «Это всё от папы?» А мама говорит: «От папы, да... одно письмо от папы, боже мой...» У мамы вовсю дрожат руки, она с трудом рвёт конверт и читает. «Ты читай вслух, читай вслух», — прошу я. И мама читает вслух, мамин голос совсем не похож на мамин, какой-то глухой и тихий, будто издалека слышу я мамин голос:

«...Чертовщина у нас тут получилась, очень скоро мы попали в окружение, ушли в лес и болтались там по лесам и болотам довольно долго, а потом прорвались и соединились с нашими войсками. Сейчас я жив и здоров. Здесь меня орденом наградили — Красного Знамени. Теперь вы понимаете, почему от меня не было писем — по этой простой причине...»

Дальше папа спрашивал, как мы живём, как наше здоровье, он о нас очень соскучился, очень хотел бы увидеть нас, но война — ничего не поделаешь!

Потом мама читает второе письмо. Это письмо от знакомой старушки. Она пишет без запятых и без точек, она не училась в школе, и маме трудно читать.

«Здравствуйте дорогие моему сердцу Валентина Николаевна и ребятки уведомляю вас что жива и здорова того



и вам желаю дорогие мои с того дня как вы у нас гостили тем летом новости дюже вредные то есть немцы нас захватили и всё у нас отбирать стали а дядю Гришу немцы повесили и вот всё у нас немцы поотбирали а один дюже злощий у нас в нашей хате поселился и револьвером мне всё грозит что я вроде припрятала кур и яйца а я ничего припрятать-то не успела так вот мои милые спешу вам сообщить какое у нас горе самое настоящее на наши головушки свалилось а в следующих строках своего обстоятельного письма сообщая новость а ту именно что Володя отец ваш и муж твой Валентина Николаевна как снег на голову вдруг объявился а с ним наши солдатики дюже все похудавшие и не скрываю я от вас от родных что и Володя был похудавший и уставший а погода была у нас скверная ветры сильные и дожди со снегом пополам а Володя-то с солдатами моего жилища лютого враз застрелили и тут такая пальба пошла страшнейшая и немцев всех они тут перебили всех окаянных уничтожили а Володя-то ваш и говорит ну Марья Петровна живи спокойно а я говорю как же вы-то здесь очутились касатики когда наши-то все далеко отсюда а он говорит такие бабуся обстоятельства сложились не горюй бабуся вернутся все обязательно никуда бабуся не денутся а после они ушли в лес обещали вернуться ты не горюй говорят бабуся а как же тут не горевать дорогая моему сердцу Валентина Николаевна когда горе-то вон какое на нас свалилось и дай-то им бог к своим дойти так вот и пишу я вам а вы на меня не сердчайте что может не так пишу а ежели Володя тут ещё объявится то я вам ещё напишу а других новостей пока нету только Васютки племянник Николай капсюль всё ковырял и ему палец-то и оторвало а так наши пока что все живы и тебе Валентина Николаевна и детишкам твоим приветы шлют остаюся жива и здорова бабушка Мария Петровна и что плохо написано не гневайтесь разбирайте уж как-нибудь».

Мама всё читала и читала письма по нескольку раз и всё плакала, а я сел писать ответ папе.

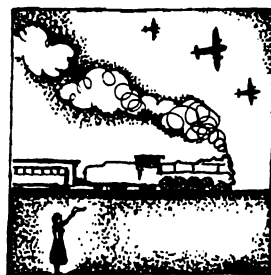
«Дорогой папа! — писал я. — С отметками у меня хорошо. Меня даже хвалили за честность, и вот как это произошло...»

И я написал всё, как было с отметкой и с изложением.

24. До свидания, дядя Али

Рамис, Рафис, Расим, Раис сидели на верхней ступеньке, а я стоял рядом.

— Мой папа, — говорил я, — убил самого главного фашиста, одним выстрелом вот с такого расстояния, как отсюда, вот от этих перил, до той трубы вон на той красной крыше...



— Он убил Гитлера? — спросил Рафис.

— Гитлер сидит во дворце, — сказал я, — как там его убьёшь.

— Значит, не самого главного, — сказал Расим.

— Как же не самого, — говорю, — когда самого, только не Гитлера, вот и всё...

— А дальше что было? — спросил Расим.

— Потом папа берёт автомат и ка-ак пошёл чесать — тра-та-та! — по другим фашистам. Он на месте стоял и вокруг крутился и — тра-та-та! — вкруговую...

— И в него не попали? — спросил Расим.

— Как бы не так! — говорю.

— Как же так, — сказал Расим, — раз он не нагибался! На фронте все нагибаются. Я в кино видел.

— Слушай дальше, — сказал я. — Сначала он не нагибался. Он так специально делал. Чтоб всех фашистов запутать. Вот они все и запутались. Все нагибаются, а он нет. Тут можно любого запутать...

Братья Измайловы раскрыли рты, а я был очень доволен, как будто я, а не папа, палю в фашистов, вот здесь, прямо на этой лестнице. Мне даже стало жарко.

— ...так вот он не нагибался сначала, а после стал нагибаться, он видит, в него кто-то целится, прямо из пулемёта, он сразу — раз! — и нагнулся. И все пули мимо. Потом видит: в него из винтовки целятся, он снова — раз! — и нагнулся. Он-то знает, когда нагибаться! А когда не нагибаться. Потом он давай вовсю из автомата — как из поливальной машины — жжжжых! А немцы-то, немцы один за

другим так и валятся, так и валятся, целые горы... Потом в папу гранату кинули — он ка-ак отпрыгнет в сторону... — Тут я хотел показать, как отпрыгнул мой папа в сторону, но забыл, что стою на ступеньке, и полетел вниз по лестнице...

А дядя Али поднимался.

— Что ты, Петя, — сказал он, — куда летишь?

Он схватил меня за рубашку, поставил на ноги и сказал:

— Поздравь, Петя, еду и я на войну, на подмогу Володе...

Я растерялся и говорю:

— До свидания, дядя Али...

25. На крыше

Когда дядя Али уезжал, он сказал маме: «Встречу Володю, привет передам. Ещё что передать?» Мама стала столько передавать, что дядя Али сказал: «Хватит, зачем столько передавать?» А мама сказала: «Нет, передай, пожалуйста, всё передай». Тогда дядя Али сказал: «А как же, обязательно передам».

Я просил передать папе, что, когда вырасту, тоже приеду на фронт, на подмогу, а дядя Али сказал: «Ну, дорогой, тогда война кончится». Я говорю: «А может, не кончится?» Он говорит: «Дорогой, зачем я тогда еду?» — «Ну и что же, — говорю, — что вы туда едете, вы же один ничего не значите». — «Как это так, ничего не значу? Один не значу, а вместе с Володией значу».

Мы проводили дядю Али. Все на фронт уезжают, один за другим. Только я остаюсь, да старик Ливерпуль, да ещё мама, Боба, Фатъма Ханум...

Все на фронт уезжают. Старик Ливерпуль говорит:

— Я теперь не пью. Не могу пить, и всё. Я пью, когда у меня прекрасное настроение. А сейчас у меня может быть



прекрасное настроение? Как бы не так! Нету у меня такого настроения!

— Это хорошо, — говорю, — что вы не пьёте. Моя мама очень довольна.

— Аа-а... — говорит Ливерпуль, — при чём тут твоя мама... что ты тут понимаешь...

Старик Ливерпуль идёт на крышу. Он там сегодня дежурит. Теперь все дежурят на крышах. Там на крыше ящики с песком и бочки с водой, и лопаты, и большущие клещи, чтобы хватать этими клещами зажигательные бомбы и топить в бочке с водой. Правда, бомбы пока что не падали, но упадут же когда-нибудь! Для чего же тогда клещи? Вчера Лия Петровна сказала: «Я не могу дежурить, у меня появляется слабость...» Тогда Ливерпуль говорит: «Давайте буду за вас дежурить». Позавчера тётя Майя сказала: «У меня голова кружится...» Ливерпуль говорит: «Давайте я буду за вас дежурить».

Я бы тоже за всех дежурил. Но мне не разрешают. Детям нельзя на крышу. Мы с Бобой должны сидеть дома, а если тревога — скорее одеваться, бежать в подвал, то есть в бомбоубежище. Кто захочет сидеть в подвале, когда есть в нашем доме крыша?

Мама моя у Фатьмы Ханум. Они там сейчас беседуют. А я бегу на крышу. Там на крыше старик Ливерпуль. Он будет гнать меня, я это знаю, но я не очень-то слушаюсь.

Вон он стоит, освещённый луной. Звёзд на небе полно. И прожекторов полно. Небо словно живое — колышется. Где-то гудит самолёт. Бьют зенитки. Старик Ливерпуль смотрит вверх на небо. Вот он надевает очки. Опять смотрит на небо. Блестит при луне его лысина. Бородашка крючком ещё больше загнулась. Я крадусь сзади к нему. Но он слышит мои шаги. Обернувшись, старик Ливерпуль говорит:

— Ну-ка, Петя, домой!

— Вам можно, — говорю, — а мне нельзя?

— Я суровый человек, — говорит Ливерпуль.

— Поймайте меня, — говорю, — если можете.

— И не подумая, — говорит он.

- Как хотите, — говорю.
- Отца нет, — говорит Ливерпуль, — распустился...
- Вы, — говорю, — напрасно меня гоните, потому что мне здесь больше нравится, чем в душном бомбоубежище. Что там сидеть, не пойму! Немцы, что ли, на нас наступают?
- А ты думал, нет? — говорит Ливерпуль. — Наступают.
- Что-то не видно. Где же они наступают?
- Не дай бог, чтобы ты их увидел.
- Кто их пустит сюда? Никто не пустит. Вот и дядя Али поехал. Они с папой дадут им жизни!
- Дай бог, чтобы Володя вернулся, дай бог, тяжело там сейчас, тяжело...
- Почему это он не вернётся?
- Нет, он вернётся, он безусловно вернётся...
- А кошкам зимой не холодно? — спрашиваю я.
- Нет, сынок, не холодно, — говорит Ливерпуль.
- А почему?
- Потому что их шкура греет.
- А у людей, — говорю, — шкуры нет, только кожа...
- Вот ещё, — говорит Ливерпуль, — зачем людям шкура?
- Как зачем, — говорю, — очень странный вопрос! Если б я имел кошкину шкуру — не шутки ведь!
- Отстань от меня! — говорит Ливерпуль. — Ты что пристал ко мне с этой шкурой? Какое мне дело до кошек!
- Я говорю:
- Это верно, зачем людям шкура...
- Отвяжись от меня! Убирайся домой!
- Я подождал, пока он успокоится. Он успокоился и говорит:
- Ты ведь знаешь, сынок, у меня болит сердце... иди-ка ты спать, смотри, как зеваешь!
- Мне совсем не хотелось спать. Мало ли что я зеваю!
- Зачем люди воюют? — говорю я.
- Война — это несчастье всем людям. Начать войну...

Разве есть в этом здравый смысл? Нет, сынок, в этом нет здравого смысла... А между тем люди — самые развитые существа на земле...

— И я самый развитый?

— И ты, только ты ещё мал.

— И дядя Гоша самый развитый?

— Наверно, и он, а как же.

Я хотел ещё что-то спросить, как вдруг слышу голос Бобы. Мой брат Боба открыл люк на крышу, но влезть на крышу не может.

— Уйди отсюда! — кричу я.

— Мне интересно! Мне интересно! — кричит Боба.

Я с трудом тащу Бобу домой. Он, как всегда, упирается.

— И я тоже, — кричит он, — хочу тушить бомбы!

Мама ещё у Фатьмы Ханум. На крышу уж мне всё равно не уйти, Боба следом увяжется. Мы раздеваемся. Ложимся спать.

Я вижу во сне старика Ливерпуля.

...Он стоит одиноко на крыше. А вокруг страшилища. Они хотят съесть Ливерпуля. Это самые неразвитые существа на земле.

Старик Ливерпуль берёт клещи.

— Я суровый человек! — говорит Ливерпуль.

А страшилища всё наступают.

— Убирайтесь домой! — говорит Ливерпуль.

Он кидается с клещами на страшилищ. Но страшилищ много. Они ползут к Ливерпулю. Куда ни глянь — всюду страшилища.

Я бегу на подмогу. Хватаю ящик с песком. И кидаю в глаза страшилищ. Все страшилища ослеплены. Теперь мы победим. Вперёд! Ура! Ливерпуль ловит клещами страшилищ — раз-два! — и прямо в бочку с водой! Я ему помогаю лопатой.

— Вот так! — кричу я. — Вот так! Вот тебе! Вот тебе! Всех страшилищ в бочку с водой!..

26. Бетховен! Бах! Моцарт!

— Просто удивительно, — говорит мама, — что нам нечего продать! Как можно было так жить! Вот сейчас эта война, а нам нечего даже продать! У каждой порядочной семьи, на случай войны или там на другой худой случай, безусловно, всегда что-нибудь есть продать. А нам — ну просто нечего, разве только рояль и ноты... Всё кругом дорожает, а деньги где взять? Ваш отец виноват, безалаберный был человек, вот кто жить не умел! У Рзаевых сервизы, они могут их продать. А чего только нет у Добрушкиных! У всех есть что продать! Володя не мог жить, как живут умные люди. У каждой уважающей себя семьи есть что продать на случай войны или там на другой худой случай...



Я всё время хочу обедать. Всё время мне хочется есть. Я съел бы сейчас не только борщ. Не только суп и котлеты. Я съел бы большой кусок хлеба.

Хлеб можно купить на базаре. Но очень дорого стоит. Мой брат Боба плачет, когда хлеба нет, — тогда мы идём на толкучку.

Пыль там всегда столбом, и солнце печёт, и галдёж — просто жуть! Мы с мамой там расстилаем коврик, на коврик кладём наши ноты (папины ноты), и мама кричит:

— Бетховен! Бах! Моцарт!

Втроём мы сидим на коврике.

— Клементи! Клементи! — ору я.

Я теперь не играю Клементи. Я теперь вообще ничего не играю. Когда папа уехал, я, правда, играл, но всё меньше и меньше. Мама, правда, ругала меня, а потом перестала. Она просто устала меня ругать. Мама хочет продать рояль, а раз так, то зачем эти ноты. Всё равно мама продаст рояль.

— Бетховен! Бах! Моцарт!

Толкотня-то какая! Мы, правда, неплохо устроились. Мы пришли рано. Расстелили свой коврик. Все, кто рано

пришёл, расстелили здесь коврики. Часто коврик наш топчут ногами. Тогда я кричу:

— Осторожно!

Но в общем-то мы хорошо устроились. Попробуй-ка тут проходи целый день!

— Клементи! Клементи!

— Сахар! Сахар!

— Кофточки! Кофточки!

— Пирожки! Пирожки!

— Бетховен! Бах! Моцарт!

— Американские штаны! Чистейшие американские штаны из английского материала!

— Не рваная, не новая, отличная рубашка!

— Сто отдашь — пятьсот выиграешь!

— Купите! Купите! Купите!

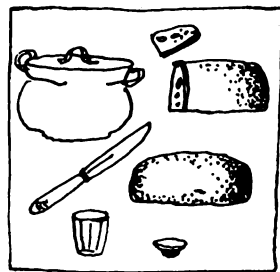
— Клементи! Клементи! Клементи!

— Бетховен! Бах! Моцарт!

Когда хлеба нет, я не плачу. Вернётся мой папа, он мне привезёт много хлеба. И мандарины, большие оранжевые мандарины...

27. Олимпиада Васильевна и мама

Моя мама теперь курьер. Я помогаю маме. Мы вместе с мамой разносим бумажки, разные там документы. Боба сидит с Фатмой Ханум. Целый день мы разносим бумажки, сдаём почту, ходим по учреждениям. А в воскресенье идём на толкучку. Там мы продаём наши ноты. У мамы замечательная работа. На работе дают обеды. Можно брать сколько хочешь супов. Мы взяли двенадцать супов! Это целая огромная кастрюлька. Мы несём эту кастрюльку и радуемся. Слышно, как булькает суп. Это суп с лапшой. Мы сольём жидкость и вынем



лапшу, а из лапши спечём пышки. Пышек выйдёт, наверно, немало. Как-никак — двенадцать супов! Порядочно. Каждому по три пышки. Или же по четыре. По сколько же выйдёт пышек?

— Не плескай, — говорит мама, — будь осторожен!

— Дорогу, — кричу я, — дорогу!

Никто не знает, что мы несём. Все думают, это простой обед. А это двенадцать супов! Видел бы нас сейчас папа. «Вот молодцы, — сказал бы он. — Столько супа! Неси, Петя, не выплескай, ну, молодчага, Петя. Я вижу, ты мальчик хороший. Ты помогаешь маме. Ты молодчага, Петя!»

Мы подходим к нашему дому.

Нас ждёт Олимпиада Васильевна.

— Здравствуйте, — говорим мы.

— Здравствуйте, — говорит Олимпиада Васильевна.

Мы проходим в комнату.

— Вот тут, — говорит Олимпиада Васильевна, — я принесла ребятам...

Мы смотрим на свёрток в её руках.

— Что это? — спрашивает мама.

— Тут две буханки... вот, пусть ребята возьмут... это хлеб...

— Две буханки, — говорит мама, — так много... так дорого стоят...

Мы с Бобой берём по буханке.

— Я вам ещё принесу, — говорит Олимпиада Васильевна.

Мама. Ну как там Гоша?

Олимпиада Васильевна. Вы скажите мне, как Володя...

Мама. Опять не пишет...

Олимпиада Васильевна. Ну, ничего, напишет.

Мама. Беспокоюсь я.

Олимпиада Васильевна. Ну, это вы зря.

Мама. Да вот только несчастье у нас. Мы тут ноты продали. Свои и чужие. Так вот, там были ноты Добрушкиной... вы не знаете эту Добрушкину... так вот, она в суд

подать хочет... «Отдайте, — кричит, — мои ноты! Где мои ноты?» А я их продала случайно.

Олимпиада Васильевна. Я одолжу вам денег. Вы ей отдайте, и всё...

Мама. Вот спасибо! Но я не смогу вернуть скоро... Если вашему сыну, Олимпиада Васильевна нужно заниматься, пусть он приходит, я кое-что покажу ему, я ведь тоже училась, хотя консерватории и не оканчивала...

Олимпиада Васильевна. Спасибо, Валентина Николаевна, он у нас бросил музыку. Не любит он музыку... А вернётся потом. Вот приедет Володя...

Мама. Ой, только бы он вернулся... Мой Петя тоже не любит музыку. Они все не любят. Тут у них нечего спрашивать, нужно учить. А то потом скажет: «Я был тогда ребёнком, я не понимал, нужно было меня заставлять». Сейчас-то война, не до музыки...

Олимпиада Васильевна. Может, вы и правы.

Мама. Безусловно права.

Олимпиада Васильевна. Володе привет от меня. Не забудьте. Он золотой человек. Мне ваша семья очень нравится.

Мама. Это правда. Семья у нас хоть куда! Продать нечего...

Олимпиада Васильевна. Нет, вы это напрасно...

Мама. Пусть будет напрасно. А что Гоша? Что он не зашёл? Мне ваш Гоша очень нравится. Он такой энергичный!

Олимпиада Васильевна. Наболтал он тогда. Он всегда так, болтает, болтает, потом говорит: «И зачем я тогда болтал?»

Мама. Чего болтал?

Олимпиада Васильевна. По-вашему, он ничего не болтал? *(Смеётся)* Вот видите, а он переживал.

Мама. Что вы, Олимпиада Васильевна! Я просто вас не пойму. Вы меня расстраиваете...

Олимпиада Васильевна. Зачем вам-то расстраиваться? Это мне нужно расстраиваться. А вам нечего рас-

страиваться. Не забудьте привет Володе. Я очень прошу, не забудьте. И не расстраивайтесь...

Мама. А вам-то чего расстраиваться, Олимпиада Васильевна?

Олимпиада Васильевна (*задумчиво*). Когда началась эта война, мой Гоша отправил все вещи, всю мебель куда-то к родным. Он боялся налётов. «Наш город будут бомбить в первый день!» — орал он. А вышло наоборот. Все вещи его там сгорели. Все шкафы разбомбили...

Мама. Какая досада!

Олимпиада Васильевна. Я не за вещи расстраиваюсь. Что мне вещи! Я за Гошу расстраиваюсь. Ну что за человек!

Мама. Он просто ошибся...

Олимпиада Васильевна. Ошибся? Ах, он ошибся! Она надевает перчатки.

— До свидания, Валентина Николаевна, — говорит она. — До свидания, дети. Привет от меня Володе.

28. Я встречаю дядю Гошу

Мы стояли на углу улицы. Дядя Гоша хлопал меня по плечу:

— Вот так встреча! Давно не видеть! Ты, Петро, не сердись, небось сердисься? Ты приходи. Я конфет дам.

— Я не сержусь, — говорю, — а конфет не хочу.

— Ну и не сердись. Мал ещё сердиться. А я скоро, брат, катану!

— Как катанёте?

— Не как, а куда. В бой, конечно, куда же ещё! В бой пора, в бой! Ну, как отец? Всё воюет? Он боевой человек, боевой. Вояка! Ты письма-то пришлешь отцу? Ты пиши ему письма. Отец ведь. Скажи: так, мол, и так, встретил Гошу...



А мать как? Ничего, жива? Мда... Вот такие дела, а я скоро отправлюсь... Мы ведь с тобой мужчины. Защита отечества есть что? Есть священный долг. Не так ли? Мы понимать должны. А разве мы не понимаем? Мы всё понимаем. И то, что отступают наши. И то, что германец давит. Когда я плавал на голубке «Куин Мери»...

— Это вы рассказывали, — говорю.

— Неужели рассказывал? Значит, запомнил. Так вот. Долг есть долг. Мы должны выполнять свой долг. В бытность свою моряком помню случай... лианы, магнолии... то есть мы, значит, крепко застряли...

— Где застряли?

— Известно где, на мели — где же можно застрять! — и ни с места. Тогда капитан говорит (старый волк был!): «Всю команду на мель!» — говорит. Ну, мы все вышли на мель. И стоим на мели. Все по горло в воде. А нужно сказать, вода — лёд. «Толкать корабль!» — кричит капитан. И представь себе, парень, мы взялись и поднажали как следует, и наш корабль пошёл... Сила, брат, коллектива! А если мы будем сидеть сложа руки, что будет? Что будет тогда, мой друг? Тем более если война. И защита отечества?

Всё время он хлопал меня по плечу. Даже мне больно стало. Всё хлопает, хлопает.

— Это неправда, — говорю, — что большой корабль с мели столкнули. Разве такое может быть?

— Я разве сказал, что большой корабль? Кто сказал, что большой корабль? Корабль был не большой, но порядочный. Ты мне что, не веришь? Мал ещё старшим не верить!

Я молчал.

— А у меня, брат, несчастье, — сказал вдруг он. — У меня большое несчастье.

— Слышал я про ваше несчастье.

— Ты слышал? Где ты слышал?

— Слышал, и всё.

— Где ты мог слышать?

У него был испуганный вид.

— Все говорят, — соврал я.

— Не может быть!

Он сильно расстроился. Стал какой-то печальный. Мне даже его жалко стало.

— Никто не говорит, это я так.

Он на меня покосился и говорит:

— Как тебе не стыдно! Это дурацкая привычка!

Мне совсем не было стыдно.

Но я молчал. Я думал, если я буду молчать, он скорее кончит рассказывать. Я мог и так уйти, но как-никак он разговаривал.

— Мда... — сказал он, задумавшись. Потом вдруг махнул рукой: — Ну, беги домой...

29. Карнавал

Там в зале стоит наша ёлка — большая, яркая.

Занятий сегодня не было. Потому что вечером праздник — большой карнавал. У кого есть костюмы — наденут костюмы. У кого нет — так придут. Я люблю карнавал. Все вокруг ходят в масках, так интересно! Только жалко, что редко бывает. Целый год ждать приходится.

Когда мы выходили из класса, Пал Палыч меня подзвал и сказал:

— У тебя, Петя, есть костюм?

— Нет, — говорю, — у меня нет костюма.

— Школа тебе даст костюм. Я там сейчас смотрел, есть чудесный костюм.

Я так обрадовался! Ещё бы! Мне школа даст костюм, и я приду в костюме!

— А какой, — говорю, — костюм?



— Костюм замечательный, — говорит Пал Палыч, — настоящего клоуна. И жабо и всё такое.

— Какое жабо? — говорю.

— Ах, ты не знаешь, что значит жабо! Это, Петя, такой воротник, как у клоунов, да ты сейчас увидишь...

— Ой, — говорю, — я хочу жабо!

— Ну и чудесно! Пошли за мной.

Мы прошли с ним в кладовую. Пал Палыч там выбрал костюм — вот это был костюм! Первым делом — колпак, весь в серебряных звёздах. Вторым делом — штаны, не какие-нибудь там штаны, а все в клетку, как будто бы шахматы. И ещё куртка в красных кругах. И жабо. У меня прямо дух захватило, когда я жабо увидел. Вот это я понимаю — жабо! Хоть сейчас прямо в цирк выступать. Я цирк люблю. Люблю циркачей и военных! Даже трудно сказать, кого больше. Но циркачей я люблю, это точно. Когда вырасту — в цирк пойду, буду работать там клоуном. Буду знаменитый клоун. Как наш знаменитый Горхмаз. Правда, он не совсем знаменитый, но всё-таки он знаменитый. Ему весь цирк хлопает...

— Ну как? Не велик? — говорит Пал Палыч.

— Что вы, — говорю, — как раз! — Я испугался, что вдруг он мне будет велик и мне не дадут его.

— Ну, я очень рад. Забирай свой костюм. Ты ведь знаешь, когда начало?

Конечно, я знал, когда начало. Как можно не знать! Я забыл даже сказать «спасибо».

Когда я надел дома этот костюм, и жабо, и колпак и стал смотреть в зеркало, я стал строить рожи, кривляться и всё смотрел и смотрел на себя, удивляясь всё больше, какие замечательные бывают на свете костюмы!

Я обедал в этом костюме. Даже колпак не снял, так в колпаке и обедал.

— Сними малахай-то свой, — сказала мама.

Это она про колпак так сказала.

Я всё быстро съел и колпак не снял.

Потом я вышел во двор. Мой костюм всех поразил. Правда, кто-то сказал из окна:

— Да ты что, одурел! Ведь зима на дворе!

Но я не обратил внимания. Мне совсем не было холодно. Я ходил, высоко подняв голову. За мной шли братья Измайловы. Весь двор смотрел на меня.

Я ещё долго ходил бы. Не так уж мне холодно было. Но мама взяла меня за руку. И притащила домой.

Весь день я не снимал костюм. Выступал перед мамой, кривлялся, прыгал через скамейку, снимал колпак и становился на голову.

В три часа я надел пальто, шапку, колпак взял подмышку и вышел.

У входа в школу надел маску. Никого ещё не было. Я пришёл раньше всех.

Я долго ходил по школе. По этажам, по всем лестницам, по пустым классам.

В одном классе была тётя Даша. Она убирала класс. Тётя Даша меня не узнала. Ещё бы! Ведь я был в маске. Но костюм ей, наверно, понравился. Потому что она улыбнулась.

Я всё стоял и стоял в дверях. Может, что-нибудь скажет, похвалит костюм. Тогда тётя Даша сказала: «Иди, милый, отсюда, гляди, пыль какая...»

Я пошёл в зал, где ёлка. Там уже было много ребят. Играл оркестр. Летел серпантин. Пели песни. Карнавал уже начался. Каких только костюмов тут не было. И Буратино с длинным носом, и три мушкетёра, и Золушка, и Карabas Барабас, и казак в бурке. Правда, бурка была из картона, зато шашка что надо! Как настоящая шашка. Шашка тащилась по полу, а сам казак ходил осторожно, чтоб бурка с него не свалилась, он всё поправлял её. Потом в зал въехал конь со всадником. Я вовсю смеялся. Тем более, что тот, кто был лошадьё, вдруг снял маску и сказал: «Мне так не видно!» И мы все узнали Гришаткина. Вот так лошадь! А тот, кто сидел на Гришаткине, слез с него и говорит: «Эх ты, Колька, не мог потерпеть! Может

быть, нам бы премию дали!» Но маску не снял, и мы его не узнали. Гришаткин встал и ушёл, а всадник за ним пошёл. Ну, смеху было!

Пал Палыч увидел меня и спросил:

— Ну как?

— Очень смешно, — говорю.

Кто-то сказал Пал Палычу:

— Подумать только: где-то война, а здесь всё своим чередом...

Я пошёл казака искать.

Народу ещё прибавилось. Я не сразу нашёл его. Вдруг слышу, кто-то зовёт меня. Да это же сам казак! Это Мишка, сын дяди Гоши! Я по голосу сразу узнал.

— Это ты? — говорит. — Ишь ты какой!

— Я, — говорю, — знаменитый клоун! Сын Горхмаза!

Он говорит:

— А я знаменитый казак! Ты мою шашку видел?

— А это видел? — говорю. — Жабо!

— Жабо?

— Вот именно, — говорю, — жабо, а не что-нибудь!

Он засмеялся и говорит:

— Жаба! Жаба!

— Не жаба, а жабо! — говорю. — Дурак ты!

— Как ты смеешь мне так говорить! — и за шашку хватается.

Потом мы помирились, и он говорит:

— А ну покажи жабо! Хорошее жабо.

— А у тебя, — говорю, — шашка хорошая. Мне твоя шашка нравится. Только бурка твоя мне не нравится.

— Да, бурка у меня неважная, всё время валится. Поплясать хочется, а нельзя. Можно только ходить, и то медленно...

— Да сними ты её, — говорю, — и всё.

— Какой же тогда, — говорит, — я казак буду!

— Был, — говорю, — казаком, и хватит.

— А ты жабо своё снимешь?

— Зачем мне жабо снимать, если оно не мешает.

— Как хочешь, — говорит, — а я свою бурку сниму. Надоела мне эта бурка!

Он отдал её первокласснику. А тот её бросил. Тогда он позвал Золушку и говорит:

— Вот тебе, держи...

И мы с ним побежали к ёлке.

У меня стало такое хорошее настроение! Мы так плясали, что даже игрушки попадали. Не все игрушки попадали. Но две-три игрушки упали. Потом их обратно повесили. А какие мы пели песни! Мы пели: «Ёлка, ёлка, зелёная иголлка» и «В лесу родилась ёлочка» и «Ёлки, ёлки, какие ёлки!» и «Новый год, Новый год много счастья принесёт»...

Весёлый был карнавал!

Обратно мы шли вместе с Мишкой. Он мне про отца рассказывал, про дядю Гошу. Про то, что он хочет уехать куда-то, совсем в другой город, поскольку он здесь засыпался, а как засыпался, Мишка не знал, он только знал, что засыпался. А мать его ехать не хочет. Поскольку она не засыпалась. А Мишка ждёт не дожждётся. Он путешествовать любит.

Мы всю дорогу смеялись. Всё карнавал вспоминали. Столько я никогда не смеялся. Я про всё на свете забыл. Я даже забыл снять колпак. Так и шёл в колпаке.

Радостный, я вбежал в комнату. Я всё не снимал колпак. С него стекала вода. На улице шёл мокрый снег. На столе я увидел записку. Не записку, какую-то просто бумажку. Я стал читать:

Войсковая часть № 15/40 извещает вас, что ваш муж
геройски погиб в боях под Москвой ... числа ... года. По-
хоронен в деревне Дубки.

.
.

30. 1 января

...Папа мой украшает ёлку. Сначала мы украшали все вместе — я, мама, Боба и папа, — потом мы пошли спать, а папа остался. Он ходил вокруг ёлки на цыпочках и говорил сам с собой. Но я слышал, что он говорил, хотя он говорил очень тихо, я видел его и слышал: «Вот этот заяц пойдёт сюда, нет, пожалуй, сюда... А вот этот шар перевесим вот так... ну, а это уже никуда не годится — три шара вместе! Куда ни шло — два, но не три же! Мы их перевесим...» — «Иди спать», — говорит ему мама. «Спите, спите, — говорит он, — я хочу этот шар перевесить. И вот эту грушу...» Потом он садится на стул. Долго смотрит на ёлку...



Это было в прошлом году.

Больше я не увижу папу.

Мой папа убит.

Мне казалось, война — это что-то такое, где палят пушки и мчатся танки, и падают бомбы, и ничего не случается. Просто пушки палят, танки мчатся, бомбы падают, и ничего не случается. Кричат «ура» и побеждают.

Я стою на балконе. Гляжу сквозь ветви на улицу. Вижу снег, и людей, и машины, и мне кажется, я жду папу... Вот сейчас выйдет он из-за угла...

Но мой папа убит.

Папа мой похоронен.

Я уйду с балкона. Тревога. Воеет сирена.

Мама, Боба и я идём в бомбоубежище.

31. Последняя глава (через пять лет)

— Папа! Папа! — кричали братья Измайловы.

Дядя Али пришёл с войны. Сверкали его ордена и медали.

Он обнял меня.

Потом он обнял маму.

— Прошу всех на крышу! — сказал Ливерпуль.

Все пошли на крышу.

Была победа. Салют. Радость. Цветы. Солнце. Синее море...

— Ура! — орал Боба. — Ура!

Возвращались домой солдаты.

Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернётся...



ПОЛОСЫ НА ОКНАХ

1. Затемнение

Мы с мамой завесили окна. Потом зажгли свет. Сейчас нужно завешивать окна.

Сейчас война.

Наш город в затемнении.

Не видно сверху нашего города.

Вдруг в дверь заколотили, да с такой силой, будто несколько человек сразу колотят в нашу дверь, так оно и было. Вошёл управдом и соседи.

Мой маленький брат Боба захотел их напугать, внезапно выскочил перед ними и зарычал, но они на него внимания не обратили.

— Что-нибудь произошло? — спросила мама. — Что-нибудь случилось?

— Тушите свет! — закричал управдом. — Скорее тушите свет!

— С какой стати? И не подумаю!

— Скорее тушите, вам говорят! — Он щёлкнул выключателем, и все оказались в темноте.

— В чём дело? — возмутилась мама.

— Поглядите, что у вас творится!

— Ума не приложу, — сказала мама, — что у нас может твориться?

— У вас щели, — сказала Ханум Измайлова, — вот такие щели! Настоящая сигнализация вражеским самолётам.

Отец мой на фронте, а у нас сигнализация?! Это уж слишком. Семья фронтовика сигнализирует вражеским самолётам, получается?

— На окнах у нас матрасы, — говорит мама, — они свет не пропускают.

— Узкие у тебя матрасы, соседка, — сказала Ханум, — понимаешь — узкие.

— У меня узкие матрасы? — возмутилась мама. — Это у вас узкие матрасы!

— Посмотри с улицы на свои окна, соседка. Сходи на улицу и посмотри. Такие щели! Вот такие щели!

В темноте не было видно, какие она показывала щели.

— Обсудим всё спокойно, — сказал старик Ливерпуль. — Раз нету света, не надо торопиться. Всё устроим. Никому ведь ничего не угрожает в данную минуту. Обо всём поговорим по порядку. Дела дневные позади, и спешить нам сегодня некуда. Не такой уж это сложный вопрос, чтобы спешку устраивать, в самом деле...

— Развёл антимонию, — сказала Мирзоян, — всегда навеселе и заводит антимонию.

— Да погодите вы, — сказал управдом. — Сейчас не время разногласиям. Нужно быть начеку. За светом следить внимательно. Ни щёлочки света, понятно? Так что ликвидируйте просветы.

— Ликвидируем, — сказал я. Мне это слово понравилось.

— Хорошо, — сказала мама, — я повешу по бокам одеяла.

— Вешайте что хотите, — сказал управдом, — это ваше дело.

— Ай, соседка, — сказала Мирзоян, — на чём же вы спать будете?

— На чём все спят, — сказала мама.

— Все постели повесите — и тогда как?



— А что же мне ещё вешать?
— Что-нибудь другое.
— Откуда же я возьму другое? Выкручиваемся как можем.

— Мы тоже выкручиваемся, — сочувствовали соседи.
— Кручусь и верчусь, — сказала мама.
— Все крутятся и вертятся, — поддерживали соседи.
— На чём же вы спите? — не отставала Мирзоян.
— С окон снимаем и спать ложимся.
— А потом?
— Потом снова приколачиваем.
— Так каждый день и приколачиваете?
— В матрасе уже полно дырок. Остаётся только повесить на гвозди. Мы люди не богатые и не гордые.

— А вы сказали: приколачиваете, — вмешался Ливерпуль.

— То вешаем, то приколачиваем, — говорит мама.
— Бедные матрасы, — посочувствовал Ливерпуль, — навряд ли они войну продержатся.

— Вся жизнь у людей изменилась, даже вещи не на своих местах оказались, — сказала Мирзоян.

— И беседуем во мгле, — сказал Ливерпуль.

Дверь была не заперта, и кто-то вошёл к нам на веранду.

— Эй, кто здесь есть? — закричали с веранды.

— Что там опять такое? — спросила мама.

— Ваш пятилетний сын по улицам разгуливает, — ответили с веранды.

— Ах, вечно он сбегает, — спохватилась мама, — вечно он в движении!

«...Кручусь я и верчусь. И ничего не видно!» — распевал Боба на веранде.

Мама уже была там.

— Я вообще не люблю ничего плохого, — объяснял Боба, — когда темно, когда нет света и когда ничего не видно.

— Можно подумать, что он один всего этого не любит, — отвечала мама из темноты коридора.

— Я ходил искать свет, — оправдывался Боба.
— И нашёл? — насторожился управдом.
— Нигде нету света, — сказал Боба.
— Вот видите, кругом порядок! — сказал управдом.
— Тогда дайте мне красную повязку, — сказал Боба.
Старик Ливерпуль сорвал свою повязку дежурного и повязал Бобе на рукав.

Даже в темноте было заметно, как Боба загордился. Завтра я у него эту повязку отберу, подумал я.

Расходились соседи. Свалили стул с грохотом. Кто-то ушибся.

Мы сняли наши матрасы.

Окна были раскрыты, и небо чёрное.

На улице ни огонька.

Мне не спалось.

Было душно. Бродил в небе слабый прожектор.

У всех своё затемнение, думал я, у каждого по-своему.

У старушек Добрушкиных ковры висят.

У Груниных шторы.

У Мирзоян фанера.

У дяди Миши картон.

У Фалалеевых рекламные противопожарные щиты.

У старика Ливерпуля доски, остаются щели, и его несколько раз предупреждали.

У дяди Гоши окна завешены шалами, и меня всегда интересует, откуда он набрал столько шалей.

У Алиевых одно окно, они к нему прислоняют шкаф. Не лень людям шкаф двигать каждый вечер. Зато никогда в жизни осколки им в комнату не влетят, как они уверяют.

У Измайловых блестящая плотная бумага, все спрашивают, откуда они её достали, а папа Измайлов улыбается и говорит: «В универмаге до войны». Все удивляются, как он мог знать, что начнётся война и ему понадобится эта бумага. Он отвечает, что купил её для совсем другой надобности, но не успел использовать. Тогда спрашивают, для какой надобности он её купил и почему не успел использовать. Оказывается, он собирался оклеить стены своей



веранды, но всё откладывал. А теперь ждёт окончания войны, чтобы снять её с окон и оклеить веранду.

С завистью смотрят на его практичное, недорогое затемнение.

Все хотят иметь красивое и практичное затемнение.

Я тоже жалею, что мы не купили раньше такой бумаги и теперь нам приходится вывешивать матрасы.

Боба спит с красной повязкой. Даже во сне лицо у него довольное и гордое.

...Рано утром влетели к нам братья Измайловы, у каждого по рулону.

Рамис, Рафис, Расим, Раис промчались в нашу комнату как конники, размахивая рулонами. Ни слова не говоря, оставили свои рулоны и умчались.

— Порядочно у них бумаги, — сказал я, — на две семьи.

Мой брат Боба схватил рулон, но мама отняла.

— Спасибо соседям, — сказала она. — Обращайтесь с бумагой бережно. Сегодня мы сделаем шторы. А когда кончится война, нашим соседям эта бумага понадобится, чтобы оклеить веранду.

2. Герои

— Советский лётчик таранил самолёт! — заорал я, вбегая в комнату.

— Зачем же так орать? — сказала мама.

— Он ночью таранил! — орал я.

— Представляю, — сказала мама. Ничего она не представляла.

Я размахивал газетой:

— Как даст фашисту в хвост! Винтом как врежет р-р-раз! Бац по хвосту! Тот по-ошёл вниз...

Раскрыв глаза, смотрел на меня Боба. Он тоже ничего не представлял.

Ведь я собирал все газеты. Я знал всех героев. Я знал

их в лицо по портретам. Я очень любил их. Не мог я пропустить ни одной газеты. Не могло такое произойти.

И всё же происходило.

— Одной газеты у меня сегодня не хватает, — сказал я, — в нашем ларьке она кончилась. Где-то нужно найти.

Мама к этому привыкла. А Бобе всё равно.

— Попроси у соседей, мама, может быть, у них есть эта газета. Если у них её нет, придётся искать в другом месте.

— Неужели нельзя обойтись без одной газеты?

— Никак нельзя.

— Спроси сам.

— Но мне могут не дать.

Мать идёт за газетой и возвращается ни с чем.

— Я так и знал, — говорю. — Такую газету никто не даст. Первый в мире таран. Представляешь? Ночной. Отрубил фашисту хвост. Вот герой! Нет, такую газету никто не даст, нечего и просить.

— Если бы она у них была, они бы дали, — говорит мама.

— Никто бы не дал. В этом я убеждён.

— Ну, зачем она им, для чего? Никогда бы они не стали из-за газеты портить отношения.

— Ничего ты не понимаешь, мама. Из-за такой газеты можно портить отношения. Если бы ты представляла...

— Газеты, газеты... — говорит мама. — Зачем тебе столько газет?

— Ведь он срезал фашисту хвост!

— Ох, эти газеты, — вздыхает мама, — кругом война...

— Не искал бы я эти газеты, если бы там войны не было!

— Понятно, — говорит мама.

Ничего ей не понятно.

Я выскочил на улицу. Сел на трамвай.

— Посмотрите хорошенько, — попросил я в киоске у бульвара. — Неужели не осталось?

— Сейчас посмотрим хорошенько. — Продавец знал меня. — Нет, нету, — сказал он, — ни одной нету.

— А может быть, есть?

— Не может быть, раз нету.

— Как жаль, — сказал я, — неужели нету?

— Что за газета? — спросил кто-то.

Собрались люди, и все интересовались, что особенного в газете, которую я так ищу.

— Советский лётчик таранил самолёт, — сказал я, — он срезал фашисту хвост.

— Замечательный лётчик, — сказал продавец.

— Я и сам знаю, что замечательный; значит, у вас нет газеты? А где она может быть, вы не знаете?

— Поищи, дорогой, где-нибудь может быть. Непременно где-нибудь есть, нужно поискать.

— Важные сообщения? — спросил кто-то.

— Ночной таран, — сказал я, — срезал фашисту хвост.

— Как то есть срезал?

— Вот так — вжик! — и я показал рукой, как это делается.

Все стали обсуждать ночной таран, и продавец сказал:

— Заглядывай почаще.

— Мне нужно сегодня, — сказал я.

— У меня дома есть эта газета, — сказал один старик, — но я сейчас домой не собираюсь.

— А когда вы собираетесь?

— Не скоро.

— Не надо мальчонку расстраивать, — сказал продавец, — если вы домой не собираетесь, незачем об этом говорить.

— В конце концов пойду же я домой, но не сию минуту.

— Я подожду, — сказал я.

— Первый раз вижу, чтобы человек так газету искал!

— Я же вам объясняю: лётчик Талалихин таранил самолёт, разве этого мало?

— Он твой родственник, что ли? — спросил старик.

— Если бы он был мой родственник, я бы до неба подпрыгнул.

— Я бы тоже подпрыгнул, — сказал старик.

— Ну вот видите!

— Придётся идти за газетой, — сказал старик. — Я хотел посидеть на лавочке, но разве можно отдыхать, когда тебе нужна газета.

— Я посижу с вами сколько хотите, — сказал я.

— Не уверен, что тебе интересно со стариком сидеть, — сказал он, — вперёд — за твоей газетой!

Я ему рассказывал по дороге:

— Все газеты с портретами Героев, а у меня ни одного, даже самого дальнего родственника Героя нет. Я и сам на фронт сбегал, да толку что? Ничего из этого не получилось. В посёлке Монтиня меня ссадили и обратно на трамвае привезли. Представляете, поезда там обычно не останавливаются, а этот остановили...

— А где отец? — спросил старик.

— Известно где, на фронте.

— Может, он уже давно Герой, пока ты тут страдаешь.

— Может быть. Вот и смотрю в газетах, но пока нету. Неизвестно ведь, когда будет. Ещё до войны увидел я на нашей улице Героя с Золотой Звездой. Я забежал вперёд и всю глазею на золотую звёздочку, мешаю ему идти, под ногами верчусь и всё глазею, глазею... Он остановился и спрашивает: «Чего тебе?» Я будто онемел: на звёздочку уставился и не отхожу. Тогда он слегка приподнял меня, осторожно отодвинул в сторону и пошёл дальше. Но я опять за ним побежал, как вдруг, представляете, выходит из-за угла навстречу ему здоровенный дядька — и тоже Герой! Они обнялись, поцеловались и дальше вместе пошли. Вместе сразу два Героя! Встретил сразу двух Героев Советского Союза до войны на нашей улице! Не верите? Клянусь! Вот встреча, а? Только я их фамилии не знаю...

— Верю, верю, — сказал старик, — отчего не верить.

— Я шёл за ними, шёл, а потом неудобно стало,

сколько можно... Скорей всего они были старые друзья, а вы как думаете?

— Наверно, старые друзья, — сказал старик, — пожалуй, так оно и было. Воевали вместе в Испании или летали в Америку через Северный полюс.

— Удивительная была встреча, до сих пор вспоминаю. Старик согласился, что встреча действительно была удивительна, такого видеть ему до войны не приходилось. Вот окончится война, наглядится он на своих сыновей-героев...

На крыше военкомата устанавливали зенитки. Милиция разгоняла любопытных, а они не уходили. Ещё бы! Залезть бы на крышу, на ночь спрятаться и дожидаться вражеских самолётов. Начнут палить, а я тут как тут, сын фронтовика, подношу зенитчикам снаряды...

Старик с улицы позвал жену, она вышла на балкон и долго не понимала, что от неё требуется. Потом кивнула головой и вынесла газету. Газета полетела как птица, и я помчался её ловить. Но оказалась не та газета.

— Найдём, найдём, — сказал старик, — вечно старуха путает.

Он опять стал её звать, но она не появлялась.

— Придётся подняться, — сказал старик.

Мы поднялись, и старик сказал:

— Мальчонке нужна другая газета.

— А зачем она ему? — Старуха посмотрела на меня.

— Она ему просто необходима.

— А для чего?

— Ну, это его дело, — сказал старик, проталкивая меня в комнату.

— Я все газеты собираю с первого дня войны, — объяснил я, — ни одной пока не пропустил. А сегодняшний номер особенный, я за ним и гоняюсь.

— А чем он особенный? — спросила старуха.

— Ну как же! — Газета лежала на столе, и я показал ей лётчика. Она всё поняла и погладила меня по голове. Она всё понимала.

— Непорядок у него насчёт родственников, — сказал старик.

— А что у него с родственниками? — спросила старуха.

— Ни одного Героя нет, — сказал старик.

Они посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— У нас трое сыновей на войне, — сказал старик. — Мать все газеты просматривает, вроде тебя. Следит за позициями войск по карте, пытается узнать, где сыновья находятся, да разве узнаешь.

Старуха вытащила карточки сыновей, и я восхитился, сколько у них орденов. Вот все трое в обнимку. Вот отдельные фотографии. Вот братья совсем малыши.

— Про наших сыновей писали, — сказала старуха с гордостью, — кто-то взял газету, а потом не вернул.

Я спросил фамилию и вспомнил. «Отважный экипаж» — называлась заметка. Такие вещи я крепко запоминал. У стариков газета не сохранилась, и я обещал принести.

Теперь у меня все газеты. Одну дам старикам, и опять получается, что одной у меня всё-таки не хватает.

— Ну и пусть.

3. Звёздочка

Я выпилил маленькую звёздочку Героя Советского Союза из большого куска бронзы. Лежит она в старинной бархатной коробочке, как золотая. Откроешь крышку, а она сверкает и переливается. Сколько дней потратил я на эту звёздочку, сколько часов! Попробуйте выпилить гранёную звёздочку из большого куска бронзы! Таковую нигде не купишь, нигде не достанешь, ни на что не выменяешь.

— Ты читала про дядю? — спросил я маму, любуясь звёздочкой.

Никто не мог читать о моём дяде, которого на свете не было. Я просто его выдумал, соврал, но войдите в моё по-

ложение, посочувствуйте человеку, у которого непорядок насчёт родственников... Несуществующего дядю наградили звездой Героя, но разве здесь большой обман? Любой из нас станет Героем, а значит, обмана здесь нет. Если нет мне возможности стать Героем, значит, это единственная возможность. В семье должен быть порядок, в семье должен быть Герой.

Вот так рассуждал я, поглядывая на маму, а она вошла у плиты. Не очень-то она меня слушала, да это и неважно. Я сам хотел в дядю поверить, сам слушал себя, вот что важно. Я хотел, чтоб он был в самом деле.

— Что это ещё за дядя? — удивилась мама.

— Не читала? — спросил я, волнуясь.

— Ну и что же ты вычитал?

— То и вычитал.

— Так что же?

— А вот и то.

— Странные у тебя выходки, — сказала мама, — о чём ты?

— Потом, — сказал я и быстро ушёл с кухни.

Мы сели за стол, и мама спросила:

— Что это ты там плёл?

— Что значит плёл? — обиделся я. — Это правда.

— Так в чём там дело? Что там за дядя?

— Дядя как дядя, — отмахнулся я.

— Ну, а всё-таки? — не отставала мама.

— Мой дядя, а не твой, ясно? — разнервничался я.

— С ума сошёл? — сказала мама.

— Дядя, и всё! — крикнул я, закрыв глаза от волнения. — Могла бы и прочесть!

— Ну, хорошо, — сказала мама, — пожалуйста, я просто думала, что-нибудь серьёзное.

— Конечно, серьёзное! Очень серьёзное!

— Представляю, — сказала мама.

Ничего она не представляла.

Я встал из-за стола. Маячил у меня перед глазами прославленный дядя. В руке я сжимал свою звёздочку, и острые

края впивались мне в ладонь. Я увёл Бобу в другую комнату и показал ему звёздочку.

— Дай! — сразу сказал Боба.

— Ты погоди, — сказал я.

— Отдай! — заорал он.

Я спрятал звёздочку в карман и рассказал ему про дядю. Я сочинил для дяди биографию, и Боба меня слушал внимательно.

— Всё понял? — спросил я.

— Всё, — сказал Боба.

— А что ты понял?

— Мой дядя — Герой Советского Союза.

— Где он раньше жил?

— В Ленинграде.

— А сейчас?

— Не знаю.

— Сейчас он на фронте, чтоб ты знал.

— На фронте, — повторил Боба.

— На каком?

— На нашем.

— На Ленинградском, чтоб ты знал.

— На Ленинградском, — повторил Боба.

— Знаешь, какие у него ордена?

— Не знаю.

Я перечислил. Многими орденами наградил я дядю.

— Повтори, — сказал я.

Но Боба отказался.

— Ты должен знать, сколько орденов у твоего дяди.

— Много... — сказал Боба.

— Вот и хорошо, что много, родной ведь человек.

— Не помню... — ныл Боба.

— А где жил твой дядя, помнишь? — возвратился я к началу.

— Забыл, — сказал Боба.

— Как же ты своего родного дядю не знаешь!

— Не хочу твоего дядю... — заплакал Боба.

— Он такой же мой, как и твой!

— Мне дядю не нужно... — ныл Боба.

Я показал ему звёздочку, и он сейчас же к ней потянулся.

— Да знаешь ли ты, чья это звёздочка? — сказал я. Он не знал.

— Дядина, — сказал я.

— Мама! — заорал Боба. — Опять дядя!

— Молчи ты, пойми наконец...

Нет, он не понимал. Не мог понять мой брат Боба, что значит для меня дядя...

— Отстань от малыша, — вмешалась мама.

— С такой памятью он далеко не пойдёт! — разозлился я. — Ничего из него путного не выйдет! Нужно тренировать свой ум!

— Чего он от тебя хочет? — спросила мама Бобу.

— Дядю хочет... — всхлипывал Боба.

— Объяснишь ты мне наконец, что это за мифический дядя и чего ты хочешь от ребёнка?

— Я хочу, чтоб он был умный.

— Он не глупее тебя.

Боба подбежал ко мне и шёпотом спросил:

— Отдашь звёздочку?

— Дам только поддержать, — сказал я. — Такую звёздочку даже поддержать почётно.

— Дядя родился в Ленинграде! — вдруг выпалил Боба.

— Не совсем, оказывается, забыл, — сказал я.

Бобу словно прорвало:

— Два ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды...

— Молодец! — сказал я.

— ...три медали «За отвагу», три медали «За боевые заслуги»... — шпарил он без запинки.

Мама взяла Бобу за руку, он вырвался.

— Гвардии майор!!! — орал он откуда-то уже с веранды. — Родился в Ленинграде! А сейчас на фронте!!!

Я догнал его, сунул ему под нос звёздочку и спросил:

— Чья это звёздочка?

И Боба сказал:

— Папина.

Такого ответа я никак не ожидал. В это время завывала сирена, и мама стала быстро одевать Бобу и велела мне переодеться. Несколько раз уже были тревоги, и всё учебные. Я не спешил, а мама торопила. Сирена была всё сильней и сильней. Я думал, как бы сбежать — поглядеть, что творится на улице в это время. На лестничной площадке собрались все соседи. Некоторые были с узелками, а семья дяди Гоши с подушками. Дежурный повёл за собой всю компанию. Я держал за руку Бобу, и он подвывал сирене.

— Верно ты сообразил, — сказал я Бобе.

Он прекратил выть.

— Чего сообразил?

— Звёздочка, конечно, папина, — сказал я, — при чём здесь дядя...

Сирена продолжала выть.

Я протянул Бобе тёплую, согретую в ладони звёздочку и задумался о своём папе, которому неизвестно как сейчас приходится...

4. Оружие

Когда я узнал, что в Кишлах на свалке груды оружия, я спать не мог. Оказывается, привозят с фронта разное трофейное оружие и сваливают в кучу у завода в Кишлах. Доехать до Кишлов на электричке, а там свалка в двух шагах. Не спалось мне в эту ночь, представлялись мне разные карабины, пистолеты, автоматы, бомбы, снаряды, просто не верилось, что там такие вещи запросто валяются. Настоящее ведь богатство! Склад оружия, груда вооружения. Пусть старое, негодное, но ведь исправить можно! Да я бы всё на свете отдал, только б мне эти штуки приобрести. Кто об оружии не мечтает! Да я по разным пулькам, гильзочкам с ума сходил, а тут невообразимо! Всю эту

грудю, говорят, собираются переплавить. Да мне бы чуточку, совсем немного, старенького оружия, пока его не переплавили. Выберу себе кое-что, а там, пожалуйста, переплавляйте. Мои автоматика, пистолетики, карабинчики, винтовочки, я вас в порядок приведу, исправлю. Достану себе оружие, пусть только немцы сунутся! Лягу у порога с автоматом, пусть только появятся! Шквальный огонь по фашистам, смерть немецким оккупантам, не войдут они в нашу квартиру! «Внуки Суворова, дети Чапаева, бьёмся мы здорово, колем отчаянно!» — отличный плакат висит на стене с отличными словами! Отчаянно буду палить без передышки по врагу, идёт священная война! Разгромим и уничтожим вражеское отродье! Наше дело правое, враг будет разбит!

Лежу и дрожу в своей постели от нетерпения оружие достать, будто у меня лихорадка или что-то вроде. В школу утром не пойду, какая может быть школа! В нашем школьном музее один автомат ржавый да три лимонки старые без всяких запалов. Пулемётная лента да каски. Для школьного музея постараюсь, неужели непонятно? С музеем поделюсь, не жалко. Ещё мне спасибо скажут. Вполне можно в школу не явиться ради того, чтобы музей обогатить. Встречусь утром с Вовкой — и туда! С ума я схожу по трофейному оружию. Рвётся враг к нашему городу, нельзя быть человеку без оружия, будет у меня свой автоматик-пистолетик-пулемётик!

Утром мама уходила на работу, старалась не шуметь. Убрала затемнение, и я зажмурился от света. Я давно не спал. Захлопнулась за мамой дверь, а глаза у меня сами закрылись. Жуть захотелось спать. Но я встал, открыл входную дверь, чтоб Вовка мог войти, и завалился. Мне снился сон, будто я охраняю склад оружия, а тут фашисты налетели. Такая заварушка началась! Отбиваю атаку за атакой, оружия у меня полно, подходите, гады, будет вам за всё! Фашисты насаждают, я держусь, на подмогу мне спешит отец с Золотой Звездой, трое братьев — отважный экипаж на своём танке... В это время меня Вова разбудил.

Я сначала его за фашиста принял. Потом увидел у него портфель и спрашиваю, зачем же он с портфелем явился, если мы на свалку собираемся, а не в школу. «Как же я, — говорит, — без портфеля из дому выйду, соображаешь?» В общем, я спросонья не сообразил.

Стал одеваться, а Боба мне какой-то листок суёт. Что это? А он, оказывается, свастику начиркал, пока я спал, и мне протягивает. С плаката срисовал.

— Да ты что, — говорю, — такие вещи рисовать? Ты знаешь, что это такое? Омерзительная, ненавистная зараза! Фашистский знак! Только предатели рисуют вражеские знаки! За это знаешь что нужно сделать?

Он задумался и говорит:

— Чего?

— За это, — говорю, — не знаю, что можно сделать!

Поддали ему, чтобы знал.

Кое-как его одели с Вовкой. Каждое утро его одевать одно мученье. Там нас оружие ждёт, а он тут безобразничает.

... Сразу же за станцией я увидел мальчишек и ахнул. Они носились с криками и воплями, играли в войну, но не это меня поразило. В руках у них были настоящие немецкие трофейные пистолеты-пулемёты!

— Самое лучшее, наверное, растаскали, — сказал я, волнуясь, — какие у них автоматика, ты видишь?! Да где же здесь свалка?

Вовка не знал, где свалка.

— Эй! — закричал я ребятам. — Подойдите-ка сюда! Подойдите-ка на минуточку!

Двое подскочили с автоматами.

— Эти штуки стреляют? — спросил я.

— Это «шмайсер», а не штуки, — сказал один.

Другой объяснил, что автомат испорчен, все автоматы на свалке не стреляют, одни болванки, но есть австрийские карабины и подходят к ним отечественные патроны.

— Сразу можно палить? — задрожал я от нетерпения.

— Все части там валяются отдельно, — сказал он, — а затворы реже всего попадают, поди их найди в такой куче.

— Выходит, там одни железки?

— Разные там железки, — сказал он, — а не одни. Полно там всего.

— Прямо так и полно? Подходи и бери? Набирай сколько хочешь и домой тащи?

— Там сторож на коне. Оружия навалом, а сторож не даёт. Но его спокойненько перехитрить можно. Надоедает ему на лошади стоять, он скакать начинает. Вокруг завода скачет, чтоб не скучно. Когда он за забор завернёт, тут и выбегай. Там танк есть фашистский. Машина. За танк можно спрятаться и оружие выбирать. За танком не видно. А в танке кости. Фашист в нём сгорел. Даже крест там нашли. Разные там бомбочки, мины. Вот и опасаются.

— Вечно о нас заботятся, как будто мы маленькие, — сказал я.

— Один раз мину нашли, — сказал мальчишка, — как грохнут, с сарайчика крышу сорвало.

— Только и всего?

— Столб зашатался, но устоял.

— И всё?

— Тебе мало?

— Мина ведь.

— Одна ведь мина. Не тыща.

— Тоже правильно.

— Из-за мин всё, — сказал мальчишка.

— А куда крыша улетела? — спросил я.

— Куда, куда... больно я знаю. А в сарайчике мотоцикл стоял. Крыши-то не стало, мотоцикл и украли.

— Ты нам свалку покажи, — сказал Вовка, — нечего нам про мотоцикл рассказывать.

— Свалка нам нужна, а не твой мотоцикл, — сказал я.

— Сами же спрашивали, да ну вас! — Он хотел убежать. Второй давно смотался.

Свалку он всё-таки показал, мы ему даже спасибо не сказали, со всех ног туда бросились. Неплохо бы сверху ржавое оружие разбросать и до низа добраться. Только танк не спихнуть.

Мальчишка правильно сказал: свалочка порядочная и танк — махина. Сверху на груду оружия его и свалили. Помяли карабинчики, уж точно. Сторож на коне сидит и по сторонам поглядывает.

Сторож нас поразил. Он был очень стар. Совершенно дряхлый старик. Белая борода, как у деда-мороза, свисала на гриву лошади. Похоже, старик дремал. На голове у него была мохнатая папаха. Смешное он производил впечатление. Казалось, если лошадь шагнёт, он не удержится в седле и свалится. Скакать вдоль стены вокруг завода он и не собирался. А скорей всего не мог. Мальчишка здесь явно напутал.

— Ну и дед, — сказал Вовка, — потеха!

— Дряхлый дед, — сказал я, — ну и сторож!

Колоссальная груда трофеев сверкала на осеннем солнце и притягивала, как магнит.

Мы шагнули вперёд, и сторож нас заметил. Дряхлый дед поднял голову и сделал знак рукой, чтобы мы не подходили.

— Да ну его, — сказал я, — не обращай внимания. Не видишь, он просто так поставлен, как пугало огородное. Айда в обход.

Сторож засвистел в свисток, но мы внимания не обратили.

— Пусть свистит, — сказал я, — тоже мне Соловей-разбойник.

Мы не останавливались, и он вторично засвистел. Вдруг хлестнул коня и ринулся на нас галопом. Мы пустились бежать, перемахнули шоссе и влетели в сарай. Смотрим из сарая на сторожа, а он гарцует к нам спиной, на дыбы поднимая лошадь, ловкий старик.

— Еле-еле в седле держался, — говорю, — чуть не падал. Никак не ожидал, что припустит.

— Притворялся, — говорит Вовка. — Все сторожа притворяются, чтоб потом схватить.

— Гляди, сарайчик, — говорю, — тот самый. Крыши нет. Минный взрыв оторвал.

— Да ну тебя, — говорит Вовка, — следи за стариком.

— Старик не шелохнётся, вот хитрец.

— Должен же он отлучиться куда-нибудь, предположим, воды попить, да мало ли ещё куда.

Но жажда его, видно, не мучила, и он никуда не собирался.

Поклялись без оружия не возвращаться. Уважать себя не будем, если такое произойдёт.

— Каким образом они мину взорвали? — спросил я, разглядывая небо над головой. — Об камень её трахнули или по-другому? Если они её об камень трахнули, почему же тогда крышу сорвало, а им ничего?

— Ни к чему нам крыша. — Вовка следил за стариком.

— Да я не об ней...

— Откуда я знаю, как они мину взорвали, — сказал Вовка, — сдалась мне твоя мина!

— Да дело не в мине, а как они её взорвали.

— Взорвём с тобой любую мину, понял? Только бы фашисты появились.

— А как?

— С крыши им на головы кинем, понял?

Вдруг слышим конский топот: наш древний старик несётся в клубах пыли вдоль заводского забора. Мы и ахнуть не успели, как он с другого конца выскочил, пронёсся мимо свалки и опять скрылся. Носится по кругу, как в цирке, забавляется себе на здоровье. Мы этого и ждали, но сразу поняли — добежать до свалки не успеть. Маловато для этого времени: старик раньше выскочит из-за забора, чем мы до места добежим. Вокруг камни, кусты, разный хлам. Не ровная тебе дорожка, по которой шпарь без оглядки. И шоссе на пути. Вдруг — машина.

— Если мы сейчас не побежим, — сказал Вовка, — всё пропало. Жди, когда он ещё скакать будет.

Я не решался.

— Ну?

— Вперёд!

Мы поняли друг друга. Выскочили вместе. Бежали как в атаку. Неслись во весь дух. Не споткнулись ни разу. Никогда в жизни я так не бежал; шоссе было свободно, и мы пролетели его, не заметив. Я видел совсем близко свалку, блестел карабин в этой гряде... Но уж старик нёсся нам навстречу на своём коне, размахивая хлыстом.

Мы бросились назад.

Старик нас догонял, и мы побежали в разные стороны.

— Старый джигит не обманешь, — кричал он совсем уже близко, — старый джигит сам обманет! Школ бегал, учёба бегал, держи-и-ись!!!

Шоссе мы перемахнули, дальше он нас не стал преследовать. Я обернулся: старик грозил хлыстом.

— Школ не ходит! — орал он. — Прогульщик ходит!

— Какое ему дело до нашей школы, — разозлился Вовка. — Кругом о нас заботятся, будто у нас своей головы нет, верно ты заметил.

— Стерёг бы своё барахло, — сказал я, — а в наши дела не лез!

— Какое же это барахло, соображаешь? — возмутился Вовка.

— Ничего я уже не соображаю.

— Соображай, — сказал Вовка, — если мы соображать не будем, всё провалится.

Забрались в сарай.

Джигит наш уже не скакал. Он, как вначале, стоял на месте и притворялся спящим. В этом мы теперь не сомневались.

— Эх, отличная вещь — подкоп, — замечтался я, — вылезаем мы с тобой возле самой свалки из тоннеля, отряхиваемся, забираем оружие, ползём обратно, снова отряхиваемся...

— Копать-то сколько надо, с ума сойдёшь, пока докопаешься.

— Представляешь, — говорю, — мы с тобой под шоссе копаем, а наверху люди, машины едут... а мы с тобой спокойненько вылезаем под носом у джигита и отряхиваемся...

— Что это ты всё отряхиваешься? Возьми да отряхнись, вон весь в земле, — говорит Вовка.

— Да это я так, просто хорошая вещь — подкоп, замечательная штука в таких случаях, только отряхиваться успевай...

От волнения я и вправду каждую минуту отряхивался.

— А ещё, — говорю, — навести бы на сторожа луч, от которого он стал бы, как волшебник, ме-едленно скакать вокруг завода.

— Мы сюда не мечтать пришли, а за оружием.

— Поди его достань, — говорю, — мало что пришли.

— Давай, давай, — смеётся Вовка, — начни копать своей пяткой, а я тебе носом помогу.

— Нечего смеяться, раз ничего придумать не можешь.

— Будем ждать темноты.

— Много мы там в темноте увидим.

— Я слышал, с караульной вышки с завода прямо на свалку прожектор пускают. Светло как днём.

— А на караульной вышке часовой с винтовкой. И видит тебя как днём.

— Испугался?

— Не хватает, чтобы в меня свои стреляли.

— Пожалуй, верно, — согласился Вовка.

Вдруг он вскочил и заорал:

— Крыса! Смотри, большая крыса!

— Где крыса?

Вовка швырнул в угол камень, и оттуда выскочила страшная крыса и — прямо на меня. Я отпрыгнул в сторону, а крыса заметалась.

— Кидай в неё! — орал Вовка. — Хватай палку! Бей!

Крыса носилась по сараю. Дверь была приоткрыта, и она не догадывалась туда выскочить. Вовка кинул в неё ещё что-то, она рванула в сторону и пробежала мне по

ноге. Я заорал и стукнул её палкой. Промахнулся и попал себе по ноге. От боли взвыл, хромая, побежал за крысой, чтобы ещё ударить её со всей злостью, но она так же исчезла, как и появилась.

— Не видел ли, куда она прыгнула? — орал я.

— Она там! — орал Вовка. — Там!

Возможно, она выскочила за дверь, мы не заметили. Палка моя стукнулась обо что-то твёрдое. Я разгрёб солому в углу, и то, что я увидел, заставило меня отшатнуться и закричать во всю глотку:

— Сюда!

Вовка был за сараем.

— Сюда, Вовка, сюда!

Под соломой лежали карабины и автоматы. Несколько карабинов и автоматов. Немецкие каски и пулемётная лента с гильзами.

— Скорей, скорей, — торопил я, — разгреби всю солому, ух ты, фью-тью-фить!

— Да здравствует крысёныш! — заорал Вовка, кидаясь к оружию.

— Откуда здесь всё это?

— Мальчишки нанесли, бесспорно.

Карабины были без прикладов, только металлическая часть. В одном был затвор. Я щёлкнул затвором, нажал курок. Есть щелчок! Просунул карабин в штанину через пояс. В другую штанину — «шмайсер». Шагать тяжело, не разогнуть колен, да ещё с боков руками придерживай. Спокойненько дойдём, не торопясь, никого не касается. Раздутые штанины не беда. Смотрю на Вовку — по карабину у него в штанине, «шмайсер» не взял — штаны у него узкие, не пролезает. Смешной вид, а что делать? На здешних мальчишек внимания не обращают, а в электричке, в городе с оружием в руках — обратят.

Никогда в жизни мне так ходить не приходилось. Посмотреть на нас со стороны — в обморок упадёшь. Шаг за шагом — на прямых ногах.

Мальчишки нам всё же встретились.

Ватага остановилась, и один из наших знакомых спросил:

— Ну как?

— Никак, — сказали мы вместе.

— Нашли? — спросил наш знакомый.

Мы закивали головами в разные стороны.

— Прорвались? — спросил мальчишка.

— Куда?

— На свалку, куда же ещё. Трудно было прорываться?

Мы опять закивали. Я сделал жалкий вид.

— Вас что, били? — спросил мальчишка. — Плёткой били?

Мы закивали головами, мол, били нас плёткой, да.

— А нас не били.

— А нас били.

— Ишь ты, а нас только гоняли.

— Кто гонял?

— Старик, кто же ещё.

— Он нас тоже гонял, а потом как врежет! — сказал Вовка.

— А что у вас в штанах? — спросил один.

Врать было бесполезно. Не могли же мы сказать, что у нас в штанах ничего нет.

— Оружие, — сказал я.

— Вот это фокус, — сказал мальчишка, — оружие в штанах?

— А куда же нам его деть?

— Не в штаны же... — Мальчишки задыхались от смеха.

— Не в руках же нести.

— Выходит, в штанах? — Они опять захохотали.

Если б они знали, чьё это оружие, не стали бы хохотать.

— Ну, привет, — сказал я, и мы заковыляли, а они нам вслед хохотали.

— Ну и дураки, — сказал я Вовке, — над собой смеются.

Потом я повернулся и крикнул знакомому мальчишке:

— Послушай, а ты не знаешь, где достать отечественные патроны?

— Откуда я знаю, — ответил он, смеясь.

— Ладно, ладно, — сказал я Вовке, — отечественные патроны мы найдём. Они ведь наши, отечественные, из-под земли выкопаем.

— Любишь ты копать, — сказал Вовка. — Иди быстрее, как бы они в сарай не полезли. Каждая минута дорога.

— Никакой чемпион мира не сможет быстрее, если ему в штаны палки засунуть, да это всё равно, что палок в колёса напихать.

— Двигай, двигай и не рассуждай; если они за нами погонятся, несдобровать.

Мы оружие наше вытащили из штанин и к электричке побежали с оружием наперевес, а возле станции обратно засунули.

В электричке сначала всё спокойно шло, мы сели, ноги вытянули, согнуть-то мы их не могли.

Какой-то дядька смотрел на нас, смотрел, мы уже от него отворачивались, а он нас разглядывал, разглядывал, а потом и говорит:

— Могли бы свои ноги подогнуть.

Переглянулись с Вовкой и слегка ноги вбок подтянули — он в одну сторону, я в другую.

Дядька говорит:

— Смотрите, смотрите, издеваются, а? Над взрослым человеком издеваются. Молодчики какие. У меня двое сыновей, и за подобные шуточки я им спуска не даю. Посмотрите, граждане, они, ей-богу, норовят, чтобы мы об их ноги споткнулись.

Какая-то старушка говорит:

— У них что-то есть в ногах, мать честная.

— Чего у них там может быть в ногах? — говорит тот дядька и смотрит на наши ноги.

— Ой, честное слово, дуло какое-то, — говорит бабушка, — дуло.

Мы с Вовкой встаём, изо всех сил помогая друг другу, и выходим на площадку. Не хватает, чтобы весь вагон на нас внимание обращал.

— У них что-то в штанинах, совершенно верно, — замечает один пассажир, — смотрите, как они идут, какая у них подозрительная походка.

— Вы у них верно дуло видели? — спрашивает тот дядька. — Что за дуло?

— Ай, я не знаю, — сказала старушка, — может, мне показалось.

Понемногу в вагоне успокоились. Не надо нам было садиться, стояли бы на площадке, никто бы не заметил.

Сошли с электрички.

Идти дальше так невозможно. Купили сегодняшние газеты, завернули автомат и карабин. По одному карабину в штанах оставили.

Попрощались с Вовкой.

Возле дома стоял Ливерпуль.

— Откуда плетёшься? — спрашивает.

— Вы теперь без повязки ходите? — спрашиваю. — Брату моему отдали, а как дежурить ходите?

— Тьфу, — говорит, — твоя повязка, будто я без неё дежурить не могу. Без повязки я могу дежурить, а вот повязка без меня не может. Мальчонке будет радость. Отстань ты со своей повязкой.

Я уйти хотел, а он меня остановил:

— Постой, постой, чего это у тебя в штанах?

— Ничего там нет, отпустите.

— Эге... в штаны чего-то спрятал, а ну-ка, ну-ка пойдёшь, небось стянул чего?

Я бы от него вырвался и убежал, если бы в штанине у меня не карабин.

Он похлопал меня по ноге своей палкой и удивился:

— Чего это там у тебя звучит? Отвечай, что это у тебя в ноге звучит?

— Ничего, — говорю, — не звучит.

— А в руках у тебя покажи.

Ну и влип. Как быть? Обидно. Возле самого дома попался...

— Зайдёмте, — говорю, — в парадное, здесь неудобно, чтоб другие не видели. А то скандал будет.

Пошли с ним в парадное. Я ему и сознался.

— Автомат у меня, — говорю, — в газете. Немецкий пистолет-пулемёт.

Он как разозлится:

— Ты мне брось шутить! Я тебе не мальчик! Я тебе дед, а ты мне внук, да я таких внуков иметь не хочу, пошёл вон! Нет, погоди, показывай!

Я развернул газеты, отошёл, газеты бросил, направил на него автомат и как заору:

— Руки вверх!

— Тьфу ты! — говорит Ливерпуль и поднимает руки. — А ну, покажь!

Неужели, думаю, отнимет. Попрошу, может, не отнимет, внутри ведь автомат пустой, одна болванка.

А он повертел его в руках, понюхал, вернул мне.

— Тьфу, гадость. Фашистом пахнет. Где ты его достал?

— На свалке.

— А в брюках что?

— Карабин.

— Ну и катись, — говорит, — со своим дрянным фашистским ржавым обломком на все четыре стороны.

Я поднял с полу газеты. Аккуратно свернул их. И стал подниматься по лестнице, подтягивая ногу с карабином. А он смотрел мне вслед.

— Ну и шутник, — сказал он.

— Не шутник я, дядя Ливер, — сказал я, — вот научусь стрелять, устроим мы вместе с Вовкой неприступную оборону, тогда увидите вы, дядя Ливер, как меня шутником называть.

2. Патрон

Каждый раз Вовка заходит за мной перед школой. Но сначала интересуется патронами. Поди их достань, отечественные патроны! В классе с Вовкой нас рассадили, и теперь я сижу с Толиком. Но как прозвенит звонок, мы сейчас же друг к другу и о патронах начинаем. «Вашей дружбе, — сказал учитель, — можно позавидовать, но о вашей дисциплине можно пожалеть». Пожалел бы нас Пал Палыч, достал бы нам патроны...

Опоздали с Вовкой в класс, стоим за дверью и проблему патронов обсуждаем. Фронт близко, а мы без патронов. Лучше в класс не пойдём в таком случае, мало ли может быть в военное время уважительных причин. Домой Вовке нельзя, бабушка изведёт, а ко мне можно. Карабины проверим, на каски полюбуемся. Недавно их со свалки принесли, с орлами, с фашистскими знаками.

...Во дворе, на ступеньках бомбоубежища, дядя Павел играл с управдомом в шашки. Дядя Павел вернулся с войны, ходит с палкой, в военной форме без петлиц и носит жёлтую нашивку тяжёлого ранения. Никто с нашей улицы не возвратился ещё с войны и не носил такой нашивки. До войны он возил хлеб с пекарни. Мы бежали гурьбой за его фургоном и цеплялись сзади. Фургон останавливался у магазина, и мальчишки разбегались в разные стороны. От горячего хлеба шёл пар, и он вкусно пахнул. Сейчас Павел был инвалид. До сих пор мне не приходило в голову спросить у него патроны. Неужели он с фронта не привёз ни одного патрончика? Но как спросить? Управдома куда-то позвали, и я заменил его. Дядя Павел расставил шашки.

— Сознайтесь, — сказал он вдруг, подняв голову и разглядывая нас, — вы ко мне цеплялись за фургон?

— Цеплялись, — сознались мы, — да когда это было. Он даже обрадовался, что мы к нему до войны на фургон цеплялись.

— Не гнал я вас, ребята, верно?

— Когда гнали, а когда и нет.

— Очень редко гнал, — задумался, как будто это сейчас значение имело.

— Вообще-то редко, — говорим.

Он оживился:

— Катались на моей лошадке, будь здоров.

— А нас за фургоном и не видно было, — говорю, — вы и гнать-то не могли.

— Так что же вы думаете, я вас не чувствовал? Я вас прекрасно чувствовал. Эх, если бы сейчас я на фургоне ездил, не гнал бы вас совсем, ребята... Катались бы, сколько вашей душе угодно.

— Да мы на вас не обижаемся, — сказал Вовка.

— Да мы и забыли, — сказал я.

— Но я-то не забыл. — Он долго хвалил свою лошадь, расписывал её достоинства, извинялся перед нами, что не давал нам кататься, не мог отделаться от воспоминаний.

Я думал о патронах.

— Играть-то будешь? — спросил Павел.

— Не, — сказал я.

— Чего ж садился?

— Патроны хотел у вас спросить.

— С ума все посходили, — сказал он, — какой раз спрашивают у меня патроны!

— Мы первый раз у вас спрашиваем.

— Просили вроде вас.

— Нет, нет, мы не просили.

Он вздохнул.

— Полюбуйтесь, что сделали со мной патроны. Малейшей тряски не могу переносить по булыжной мостовой, прощай, моя лошадка...

— Так это же немецкие, — сказал я. — Фашистские патроны нам не нужны, правда, Вовка?

— Нам нужны отечественные, — сказал Вовка.

Он качал головой и собирал шашки.

Вовка тянул меня за рукав, и мы с Павлом попрощались.

— Зря у него спрашивали, — сказал Вовка.

— У всех надо спрашивать, — сказал я. — У всех под-

ряд. Иначе наше оружие заржавеет. Отечественные патроны мы из-под земли выкопаем.

— Пуля — дура! — сказал мне вслед Павел. — Погибнешь без войны от своих патронов.

— Не бойтесь, не погибну! — отвечал я, поднимаясь по лестнице.

Дома вытащили карабин, каски в ряд расставили, пощёлкали затвором, эх, нам бы патроны!

Я вынул звёздочку из бархатной коробки, и Вовка не мог поверить, что я её сам сделал.

— Приедет с войны мой папа, — сказал я мечтательно, — снимет свою гимнастёрку и повесит на стул. А я незаметно приколю ему звёздочку. Станет он надевать гимнастёрку, увидит звёздочку и глазам своим не поверит...

— А у моего отца два ордена Красного Знамени, — сказал Вовка, — мой папа лётчик.

Я знал, что отец его лётчик, но про ордена не слышал.

— Редкий у тебя папаша, — позавидовал я.

— Он ещё получит, — сказал Вовка. — Он только начал самолёты сбивать. Ему сейчас новую машину дали. А та у него старая была, вся в дырках. Папаню в ней поранило, но всё равно машину посадил. Мой папа Героя Советского Союза тоже получит. Раз у него новая машина. — Поразительно он верил в своего отца. Как бы угадывая мои мысли, он сказал: — А если его собьют случайно, он на парашюте спустится. Он может лететь, лететь, а парашют не раскрывать. Перед самой землёй раскрыть. Знаешь, как этот прыжок называется? Затяжной называется.

— А мой папа капитан, — сказал я и спрятал звёздочку.

— А мой папа старший лейтенант.

Старший лейтенант, а два ордена Красного Знамени. Но зато капитан...

Зазвонил телефон.

— Есть патрон! — шептал в трубку Толик. — Новый патрон!

— Откуда?

— Потом объясню.

- Жми сюда! Сразу! Мы ждём!
- Куда?
- Ты куда звонишь?
- Аа-а... Понял.

Не очень-то сообразительный, звонит сюда, а куда идти — не знает. Посадили его со мной за парту вместо Вовки, а он нам патрон достал, замечательно получается! Откуда он его достал? Я же говорил, у каждого надо спрашивать.

Примчался Толик, красный, запыхался. Папаша у него раньше сторожем работал. На каком-то складе. Сейчас он на войне. Винтовку он сдал, конечно, а патрон в ящике остался. Открыл Толик ящик случайно, а там патрончик валяется.

— А что вы мне взамен дадите? — спрашивает Толик.

— Каску, — говорю. — Немецкую каску с фашистским знаком. Вещь стоящая, наденешь на голову — настоящий фриц. Поглядишь в зеркало — себя ни за что не узнаешь. Вылитый фашист. Точь-в-точь. Редкая вещь.

— На кой нужна мне ваша каска, — обиделся Толик, — зачем мне её на голову надевать?

— Вещь-то стоящая, согласись. Только в школьном музее и есть, а у тебя своя собственная. Может, тебе ещё рубашку в придачу дать? Могу повязку дежурного предложить. Ходи где хочешь во время тревоги, загоняй всех в бомбоубежище, на!

— Не надо мне ничего, — сказал Толик и вынул патрон из кармана.

— Друг ты наш, Толик, бесценный друг, выручил ты нас, Толик!

— На испытания оставайся, — сказал Вовка, — официально оставайся, а хочешь — неофициально, как тебе удобней.

— Да мне всё равно, — сказал Толик.

— Как почётный гость оставайся, пальнуть дадим, можешь не беспокоиться. Папаше твоему салют устроим. Молодец он, патрон оставил. Ржавело бы наше оружие до лучших времён, если б не твой папаша. Сначала испытание



устроим, а потом фрицам праздничек устроим. Из их же оружия, представляешь, нашим патроном праздничек устроим!

Толик крутил головой во все стороны.

— Неужели вы серьёзно здесь стрелять собрались? Не в каждой квартире стреляют...

— А у меня стреляют, — сказал я гордо.

— Пригласили тебя на испытание, помалкивай, — сказал Вовка, — человек свою квартиру не жалеет, в стрельбище превращает, а ты ещё не доволен.

— Очень доволен, но моя мама стрельбу в квартире ни за что бы не разрешила.

— Опять ты нас учишь? А его мама разрешает.

— Во какая мама! — восхитился Толик. — А соседи переполох не устроят?

— Всего один выстрел, опомниться не успеют, не собираемся же мы палить до утра.

— А мне пальнуть дадите?

— Дадим ему, Вовка?

— Дадим, — сказал Вовка.

— Дадим, — сказал я.

— Не опасно? — спросил Толик, разглядывая карабин.

— Да не бойся ты, гляди! — Я отвёл затвор и вложил патрон в патронник. — Видал? — Щёлкнул затвором. — Ну? Только нажать. И — огонь! Всё нормально. Не дрейфь.

— Как же его в руках держать? — сказал Толик. — Приклада нет. Вдруг в руках разорвёт? Дал я вам патрон, сами и стреляйте, шутники нашлись.

— Он дело говорит, — сказал я, — откуда мы знаем, разорвёт или не разорвёт?

— По-моему не разорвёт, — сказал Вовка.

— А если разорвёт?

— Ну, тогда... — сказал Вовка, — тогда разорвёт.

— Мудрый у нас Вовка, — сказал я, — всё рассудил.

— У меня есть идея, — сказал Толик. — Давайте кара-

бин укрепим на стуле. К спусковому крючку верёвочку привяжем. А дёргать будем все вместе, на расстоянии.

Верно ведь сообразил. Дёрнем за верёвочку — не разорвёт, можно в будущем без верёвочек.

— Друг-то наш соображает, а мы его ругаем.

— Сорвите с балкона бельевую верёвку, — командовал я, — привяжите карабин к стулу, чтобы не шатался. Тащите ящик с кошkinsым песком, а теперь прижмите карабин ящиком. Укрепляйте карабин, не спешите, времени у нас хватает. Готовьтесь к бою. Утюг возьмите, придавите тумбочкой. Двигайте сундук, кладите сверху побольше. Эх, и расколотим мы эти проклятые каски в пух и прах!

Каски установили на чемоданах.

— А если пуля срикошетит? — заволновался Толик.

— Дадим тебе самый конец верёвки, — сказал Вовка, — стой на улице и дёргай. Только следи, чтобы прохожие ногами не наступали.

— Неужели вы всерьёз думаете, что каски пробить можно? Зачем же каски надевают в таком случае?

— Дураки, поэтому и надевают, — сказал Вовка, — видел каски в школьном музее — все с дырками.

— В музее осколками пробиты, — сказал Толик, — неужели не заметили? Спорим, каска выдержит!

— Ладно, хватит, — сказал я, — посмотрим, выдержит или не выдержит?

— Я всё-таки за дверь выйду, — сказал Толик, — на всякий случай из коридора буду дёргать.

— Залезь в шкаф и оттуда дёргай, — сказал Вовка.

— Ничего себе команда собралась, — сказал я, — три мушкетёра, один в шкаф, а другой куда? Вместе будем дёргать. Тоже мне артиллеристы, противно смотреть на такую команду!

— Во-первых, я никуда не собираюсь... — обиделся Вовка.

— Вот и хорошо, что не собираешься! Огонь по Берлину!

Мы дёрнули. Выстрел не вышел.

Я заорал:

— Одна у нас дорога — на Берлин! Идут в атаку танки! Подпустить их! Пусть ещё подойдут! Идут танки! Вы поняли? Танки идут!!!

— Да поняли мы, — сказал Толик, — ну, танки, ну и что?

— ...колонны машин приближаются! Так... так... придвигаются... давайте, давайте... ближе, гады... ещё... так, ещё...

— Скоро они наконец придвинутся? — спросил Вовка. — Лично я целюсь в самолёт, который пикирует на отца.

— Пока не стрелять! — орал я.

— Мы пришли сюда стрелять! — торопился Вовка. Возможно, самолёт уже пикировал на его отца, но танки ещё не совсем подошли.

— Спокойненько...

— Чего спокойненько? — не выдержал Вовка. — Давай дёргать!

— Спокойненько, фашисты придвигаются, ползут! — Каски я принимал за танки, входя в раж всё больше и больше. — Подпускайте их ближе!

— Давно уже подпустили, — сказал Толик.

— Не бойтесь! Пусть идут! Пусть, пусть они идут! — Я прыгал и орал.

— Пусть они идут, а мы в таком случае пойдём домой, — сказал Толик.

— Стоять на месте! — надрывался я. — Ни в коем случае не отступать!

— Никто и не думает отступать, — сказал Вовка, — хватит тебе кривляться.

— Огонь! — крикнул я, и мы задёрнули за свою верёвочку, но выстрела опять не получилось.

Мы дёргали и дёргали.

— Танки горят! — вопил я. — Колонна остановилась!

— Чего это они у тебя горят, если выстрела не было? — сказал Толик.

— Горит колонна! — Нисколько я его не слушал, ко-

лонна сейчас горела, фашистская колонна пылала, вот что было важно! Должна же она в конце концов гореть.

Толик щупал каски, повторяя, что это не танки. Вовка уверял, что сбил самолёт, каждый нёс своё и размахивал руками; шуму больше, чем на войне.

— За сбитый стервятник, — сказал я, — за спасение своего отца... — и повесил на грудь Вовке геройскую звёздочку.

Он походил по комнате со звездой Героя, такой молодой и прославленный, звёздочка покачивалась и поблёскивала, а он вышагивал довольный, гордый, будто и в самом деле Герой.

— Теперь мне, — сказал я.

Награждались по очереди, ведь звёздочка была одна. И Вовка снял нехотя свою награду за подбитый самолёт и повесил мне за разгром танковой колонны.

— А мне? — спросил Толик.

— А тебе за что? — сказал Вовка.

— Дёргал с вами вместе — значит, и мне полагается.

— Куда же ты стрелял?

— По каскам.

— Он стрелял по каскам! — засмеялся Вовка. — И за это ему полагается звёздочка? Да кто же получает такую награду за стрельбу по каскам, ты в своём уме?

— А вы куда стреляли? — разволновался Толик. — Не по каскам?

— В самолёт я стрелял, в «мессершмитт»! Сбил его. А он танки подбил. Петя подбил танковую колонну, пока ты каски колошматил.

— Несправедливо поступаете! — взвыл Толик. — Вместе мы дёргали, не выдумывайте чего не было!

— Ну, сколько ты фрицев уничтожил? — подсказывал я. — Ты бил по пехоте? Ведь верно, ты бил по пехоте?

— По каскам, а не по пехоте, — тарасил глаза Толик.

— Ну и ничего тебе не полагается, — сказал Вовка. — Неужели ты не можешь сказать, что бил по пехоте? Как же мы тебя награждать можем, если ты такое заявляешь?

Да за это тебя надо с войны выгнать, раз ты по каскам шпаришь, а не по фрицам.

Но Толик таращил глаза и не понимал. Не мог он понять, бедный Толик, что не имеем мы морального права награждать его таким званием за стрельбу по каскам.

— Сговорились и выдумали каких-то фрицев, — обиделся он.

— И ты выдумай, — обрадовался я, решив, что теперь-то он понял, в чём дело.

— Выдумывайте сами, — сказал он обиженно.

— Пальнём-ка ещё, — предложил я.

— Я не хочу, — сказал Толик.

— Вот за это мы тебя не любим, — сказал Вовка, — вечно увиливаешь, какой ты Герой.

— А если буду — наградите?

— Торгуется, как на базаре, — сказал Вовка, — да ну его. Герои не ради наград совершают свои подвиги, пора бы знать.

— Я вам патрон дал, а вы...

— Где это слыхано, чтобы за патрон званием Героя награждали?

Он вдруг надулся, стал красный.

— И не надо! Всё у вас ненастоящее, и звёздочка у вас ненастоящая, а у меня патрон настоящий!

— Ты звёздочку не тронь, — сказал я. — Не наша это звёздочка. Ничья. Не Вовкина и не моя.

— Чья же это звёздочка? — таращил глаза Толик.

— Не твоего ума дело, — сказал я и спрятал звёздочку в коробку.

— Вот народ, ну и народ! — замахал Толик руками. — С таким народом лучше не связываться.

— Мы народ отчаянный, — сказал я, — с нами лучше не связываться.

— Ну и оставайтесь, — обиделся Толик, собираясь уходить.

— А патрон-то остался? — крикнул я, и Толик тоже остался.

Я вынул патрон из карабина, но Вовка у меня его выхватил.

— Тяжёленький... — сказал он, подбрасывая патрон на ладони.

— А вдруг он холостой, — сказал я, — мало ли что тяжёленький. Может, он учебный или ещё какой.

Попробовали вытащить пулю, но нам не удавалось.

— Минуточку, — сказал я, — давайте-ка его сюда. Мы его сейчас проверим.

— Ты куда? — крикнул Вовка. Но я уже был в кухне. Положил патрон на железную подставку. Зажёг газ. Ничего с ним не случилось. Лежал себе и грелся, и я перевернул его, чтоб он погрелся с другой стороны, а остриё пули направил на чайник. Пусть в чайник, не в меня.

Сел на стул возле плиты.

— Чего ты там делаешь? — закричал Вовка.

Я смотрел на патрон. Ничего я не делаю, сами-то они чего там делают. Подсунул нам Толик холостой патрон, без всякого сомнения. Не может боевой патрон так спокойно на подставке жариться.

Звал меня Вовка. Они там чему-то смеялись, а я смотрел на патрон.

Как вдруг дверь стала медленно открываться, от ветра что ли, и я бросился её закрыть.

Вошёл Павел. В это время раздался грохот, а потом звон в ушах, и будто зазвенели вдалеке колокольчики. Настоящий взрыв!

Влетели Вовка с Толиком, Павла даже не заметили.

— Бабахнуло... — сказал я.

Они бросились осматривать стены. На железной подставке порядочная вмятина. Стены в дырках — гильза в куски разорвана. Кругом осколки гильзы.

— А где пуля? Куда пуля делась? — орал Вовка, ползая по полу.

— Не знаю, — сказал я. Колокольчики всё ещё звенели у меня в ушах.



— Не в тебе ли она сидит? — сказал Павел, и ребята стали щупать меня, осматривать.

Я так перепугался, что слова сказать не мог.

— Но где же она, где?

— Посмотрите в чайнике, — наконец сказал я, — нет ли её в чайнике?

— В чайнике нет.

— И дырки нету в чайнике?

Толик с Вовкой повертели его, осмотрели, пощупали — дырки нет, пули тоже нет.

— Может быть, она во мне? — сказал Павел.

Мы с ужасом смотрели на него. Вдруг он ранен... Сейчас упадёт...

Мы кинулись к нему, но Павел отстранил нас:

— Патроны ещё есть? Чувствовал — неладное затеяли, да так оно и вышло... — и стал осматривать квартиру.

Патронов у нас больше не было, и мы ему об этом сказали.

Павел вытащил затвор из карабина, положил в карман. Надел нам на головы каски. Каска съехала мне на глаза, но я не шелохнулся, и ребята застыли, стояла мёртвая тишина. Он постучал по каскам на наших головах — головы глухо зазвенели — и своей хромающей походкой пошёл от нас прочь с нашим затвором, не хотел он больше с нами говорить.

Я поплёлся за ним, а он даже не повернулся.

— Всё равно, если сунутся немцы, встретим их шквальным огнём! — заорал я в отчаянии, поняв, что нам уже не вернуть затвор, и не совсем понимая, каким образом откроем мы шквальный огонь. — В крайнем случае, подложим под дом мину и взорвёмся вместе с врагами!

В страхе попятились от двери старушки Добрушкины, как будто вот-вот должен произойти взрыв. Им-то что здесь надо?

Дверь так и осталась открытой, скрипела на ветру, — никто из нас не закрыл её.

— Что он мелет?! — закричали старушки. — Он

хочет нас взорвать! Держите его и не отпускайте ни в коем случае!

— Пока всё обошлось, — успокоил их Павел.

— Но когда нас взорвут, будет поздно! — сказали старушки.

— Здорово ты был бледный, когда мы вбежали, — сказал Вовка, когда старушки ушли.

— Внезапно бахнул, — сказал я, — от внезапности.

— Но где же пуля?

— Нет, нет, во мне её нет... — пятился я.

— Интересно, — сказал Вовка.

Мы пересмотрели в кухне все углы, исследовали и передвинули в кухне всё, что было возможно, порылись в мусорном ведре, но пули нигде не было.

— Давайте-ка все отсюда, — сказал я ребятам. Они чуть в касках не ушли, до того разволновались. И я каску не снял. Мы вместе вдруг о касках вспомнили и сняли их почти одновременно.

— Сам звал, а сам гонишь, — обиделись ребята.

— Звал, звал... ну и звал... скоро мама придёт...

— Испортил всю квартиру, мама тебе покажет! — сказал Толик.

Я толкал их к двери, а они упирались.

Грозили нам костлявыми длинными пальцами старушки Добрушкины, заслонив проход на лестнице и не давая пройти Мирзоян. Выскочили братья Измайловы из своей квартиры.

— Уйдём-ка отсюда поскорей, — сказал Толик, — человека, раненного на войне, чуть не убили, это же страшно подумать!

— Твоим настоящим патроном! — подначил его Вовка.

— Да если бы я знал, — сказал Толик, — никогда бы... в жизни никогда бы таким дуракам патрон не принёс.

Он с силой захлопнул дверь. Оставшись один, я ощупал себя всего и долго вертелся перед зеркалом, вспоминая слова Павла «пуля дура».

Я вспомнил про газеты...

... В газетах сообщалось, что немцев остановили под Моздоком, а это значит: не придётся мне теперь ложиться у порога с карабином, не появятся фашисты в нашем городе, не удастся мне с врагом сразиться...

6. Огонь

— Уроки приготовлены? — спросил нас Павел. — Если у вас уроки приготовлены, прошу за мной!

Не собирается ли он нам вернуть затвор?

...Сначала мы ехали на трамвае и не знали, куда едем.

Потом шли немного пешком и до самого последнего момента не знали, куда идём.

Ему трудно было шагать, и мы его взяли под руки и без конца расспрашивали, а он молчал. С одной ногой вышагивать по кочкам — нешуточное дело, мы готовы были его на руках нести, если бы он только согласился. Раз он нас ведёт, значит, нужно идти за ним без всяких рассуждений. Таким загадочным мы его ещё никогда не видели.

— Ну вот и пришли, — сказал он, хотя мы и сейчас не понимали, где находимся. Кругом поле. Какая-то вышка. Сарайчик. Выходит из сарайчика одноглазый дядька, и они с Павлом обнимаются, как старые друзья.

— Ребята ещё не знают, куда попали, — говорит ему Павел.

— А попали вы, ребята, на самое настоящее стрельбище, — говорит дядька. — Хотите пострелять?

От удивления мы с Вовкой даже на месте закружились, но ничего особенного не заметили.

— А где винтовки? — спросил Вовка с недоверием.

— Займись сам с ними, Павел, — сказал одноглазый.

Павел вынес из сарайчика малокалиберки, и мы сразу потянулись к винтовкам, но он нас отстранил.

— Начнём с материальной части, — сказал Павел.

— А что это такое? — спросил Вовка.

— Начиная с материальной части, — сказал Павел, — мы узнаём, как устроена винтовка, как из неё целиться и стрелять.

Мы давно хотели стрелять, но материальная часть ещё только начиналась.

— Это ствол, — объяснил Павел, — а вовсе не дуло, как некоторые думают...

И я думал — дуло.

— ...а это ложе.

Я думал — приклад.

— Войдём теперь в сарайчик, — сказал Павел.

Неужели стрелять в сарайчике?

— Протрём теперь затворы, — сказал Павел, — чтобы не было осечки.

Далеко до стрельбы, думал я.

— А теперь на линию огня, — сказал Павел.

Мы поплелись на линию огня.

— Лёжа с упором, для начала, — сказал Павел. — Ложись, ребята, нечего стесняться. — И он показал, что значит лёжа с упором.

— Заряжай, — сказал Павел и показал, как заряжать.

Мы зарядили.

— Не дышать, — сказал Павел и засмеялся.

Мы и так не дышали.

— Не моргай, — сказал мне Павел, — какой ты глаз закрыл?

— А какой надо закрыть?

— Левый, — сказал Павел.

— А он у меня не закрывается.

— Вот те на! — сказал Павел. — Как же так?

— У меня оба глаза сразу закрываются, — сказал я.

— Так нельзя, — сказал он, — что же это такое?!

— Я только пальцем могу его закрыть, — сказал я.

— Палец должен быть на спусковом крючке, — сказал Павел.

— Попробую без пальца, — сказал я, — немножечко выходит...

— Старайся, старайся, — сказал Павел. — Выйдет. В таком деле не надо спешить.

— В каком деле? — спросил Вовка.

— Огонь! — сказал Павел.

Рядом палили из боевых винтовок, и я косился в их сторону. Левый глаз никак не закрывался, хотелось нажать на него пальцем, но я не целясь выстрелил. Зарядили по второму разу. И опять непослушный глаз не закрывался.

— Огонь!

И опять я беспорядочно пальнул.

В третий раз закрылся правый глаз — и то уже достижение.

— Это вам не дёргать за верёвочки, — сказал Павел. — Встать!

Спустили с вышки флаг, и все пошли к мишеням. Да стоило ли ходить, и так всё ясно. Какая-то надежда всё-таки имелась, и мы бесполезно, долго наши мишени рассматривали.

— Всё мимо, — сказал Павел, — в молочко.

— Куда? — не понял я.

— Намарал, — сказал Павел.

— И я намарал, — сказал Вовка, глупо улыбаясь.

— Оба намарали, — улыбнулся я так же глупо.

— Пора и домой, — зевнул Вовка.

С такими результатами стыдно домой возвращаться.

Но сколько бы сейчас мы ни стреляли, ничего ведь не изменится.

Для начала бы глаз закрывать научиться...

— А сейчас, ребята, — сказал Павел, — следует наше оружие смазать.

Когда

война-метелица

Придёт опять, —

Должны уметь мы целиться,

уметь стрелять, —

прочёл я на плакате в сарайчике.

— До стрельбы нам пока рановато, — сказал Павел, — в дальнейшем займёмся теорией, сами сделаем станок, я готов с вами повозиться.

— А сюда придём? — спросил я.

— Непременно придём.

Возьмём винтовки новые,
На штык флажки,
И с песнею
в стрелковые
Пойдём кружки! —

вспомнил я следующие строчки.

Обратно шли молча.

И ехали молча.

Так долго добирались и промахнулись...

Старались, целились, стреляли и... намарали...

7. Поручение

— Ты мне страшно нужен, — сказал мне управдом во дворе.

Никогда я ему не был нужен и вдруг нужен.

— Я тебя знаю, и ты меня знаешь, — сказал он, — достаточно ли мы друг друга за войну узнали?

— Достаточно, — сказал я.

— Безобразия твои не в счёт.

— Какие безобразия?

— Не стоит вспоминать.

— Не стоит так не стоит, тогда и говорить об этом не стоит.

— У меня к тебе поручение, — сказал он.

— Какое?

— Покрасить чердак.

Я думал, он шутит. Кому сейчас надо чердак красить, красоту там наводить?

— Очень нужно, — сказал он. — Особая противопожарная краска с известью имеется, два ведра достал.

— Внутри красить или снаружи?

— Конечно внутри, а не крышу. Смотри, крышу мне не покрась.

— А я и не собираюсь красить, — сказал я.

— Два ведра краски достал, — сказал он.

— Ну и что?

— А красить некому.

— А кисть есть?

— Всё есть. Рабочих рук нет. Сам бы красил, да времени нет. То сюда, то туда — целый день.

— Не беспокойтесь, крышу не покрашу, — согласился я.

— Чтобы известь в глаза не попала, смотри.

— Не беспокойтесь, не попадёт.

— Нужно срочно, — сказал он, — таков приказ.

— Сейчас и начну.

— А потом доложи.

Я покрасил, ему доложил. Он проверил, похвалил и говорит:

— Есть ещё один чердак, в другом доме, как ты на это смотришь?

— Нормально, — говорю, — а краска есть?

— Два ведра достал, — говорит, — не согласишься ли покрасить?

Я согласился.

— Потом доложишь, — говорит.

Покрасил я второй чердак и ему докладываю.

— Ты меня извини, — говорит, — но есть ещё чердак. Два ведра ещё есть. Нет рабочих. Вдруг ночью налёт? Останется этот чердак непокрашенным.

Я согласился.

— Неужели так красить понравилось?

— Кому это может понравиться, сами посудите. Но, если я выполняю поручение, должен же я его до конца выполнить.

— Один чердак остался в моём хозяйстве, — сказал управдом, — на завтра отнесём.

... Я вышагивал с кистью к своему последнему чердаку и наткнулся на братьев Измайловых.

— Даю вам поручение, — решил я сплавить им чердак, а самый старший, Рамис, сказал:

— Какое ещё поручение?

— Вы даже не знаете, какое поручение, — сказал я.

— А мы и знать не хотим, — сказал Рамис.

— Ну и оставайтесь.

— А ты куда? — спросили Измайловы.

— А я поручение выполняю.

— И я хочу поручение, — сказал младший, Рафис.

— Не дорос ещё, — сказал я, обозлённый, и малыш заплакал.

Надоели мне эти чердаки, по правде сказать, но нельзя же бросить поручение. Нешуточное дело — покрасить столько чердаков. Но выполнил я честно своё дело, замазал всё как есть до последнего местечка.

На чердак проникал слабый свет, освещая старинное кресло. Кто-то хотел от него избавиться и затащил сюда. Когда-то новое, красивое, богатое, сейчас оно стояло здесь в углу покосившееся и трухлявое. Шерсть или морская трава вылезала из дыр вместе с пружинами, и я в него усталый плюхнулся. Взвилась пыль столбом, и я чихнул.

... Налетели вражеские самолёты, пикировали с воем, бомбы сыпались с грохотом, но сейчас же отскакивали от чердаков и попадали обратно в самолёты. Горели, падали бомбардировщики, и страшно было на это смотреть.

— Он спит в кресле графини Потоцкой, — услышал я.

Мама с управдомом трясли меня за плечо, и я проснулся.

— Долго я тебя искала, — сказала мама.

— Осталось последнее поручение, — сказал управдом, — вынести кресло графини Потоцкой. Говорят, с семнадцатого года здесь стоит.

— Как интересно, — сказала мама, — что за Потоцкая?

— А чего тут интересного, — сказал управдом. — Может, её и не было. Вот сейчас мы его возьмём, вы мне помогаете, и вынесем этот хлам.

И мы втроём взяли кресло и вынесли с чердака.

8. Старики

Один за другим, целым классом, протиснулись мы в комнату и встали рядышком вдоль стен.

— Принёс вам обещанные газеты, — сказал я, наконец собравшись с духом.

— Не забыл, — сказал старик, похлопывая меня. — Так это ты привёл ребят? Похвально.

— «Вся школа знает вашу фамилию, — прочла староста класса по бумажке, — и ещё мы рады сообщить, что у нас появилась дружина имени ваших сыновей...» А сейчас мы пришли делать у вас генеральную уборку...

— Спасибо вам, — сказал старик, — никак не ожидал...

— Всегда готовы, — сказали мы вразброд.

— Вы только не подумайте, — сказал Вовка, — что нас директор послал или завуч... мы сами от души.

— Ну что вы, — сказал старик, — как можно.

Старуха рассматривала фотографию в газете.

— А кто вам сказал, что нам необходима генеральная уборка? — спросил старик.

— Никто нам ничего не говорил, — сказал я, — мы сами догадались.

— Наш долг вам помочь, — сказал Толик.

— Ни в коем случае не можем мы уйти ни с чем, — разволновалась староста, — разрешите нам, пожалуйста, сделать у вас генеральную уборку.

— Они настоящие люди, — сказал старик, обращаясь к хозяйке. — Упорные, достойные ребята.

— Может быть, вам нужно что-нибудь другое? — спросил я.

— Ничего не нужно, — сказал старик, — садитесь все



за стол, такая встреча! Я вижу ваши лица, что может быть прекрасней! — Он каждого брал под руку, подводил к столу и усаживал. — Столько молодёжи навестило стариков, ах, какие вы молодцы, что может быть лучше!

— Нет, нет, мы не согласны, — увернулась староста, — мы пришли работать, а не развлекаться, дедушка.

— Потом, потом, — упрашивал её хозяин.

— Но мы хотели бы начать, — твердила староста.

— Чего начать?

— Уборку.

— Не надо, не надо, — успокаивал её старик. Она ужасно раскраснелась, никак не могла сесть за стол, до того настроилась на работу.

— Неужели вам ничего не надо? — допытывался Толик. — Не может ведь такого быть, прямо не верится!

— Может быть, вам сходить в магазин? — спросил я.

— Как же я буду жить, если в магазин за меня станут ходить другие? — сказал старик.

— Ах, вот что мы забыли! — закричала староста. — Про керосин забыли!

— Какие вы милые дети! Не стоит о нас беспокоиться, — сказала хозяйка, разливая чай, — мы очень вам признательны за всё.

Хотелось старикам помочь, настоящая досада...

— Нам сейчас трудно помочь, — вздохнул старик.

— Нам ничего не трудно, — бойко заявила староста.

— Пейте, пейте, дети, — повторяла хозяйка.

Посередине стола лежала моя газета, развёрнутая на месте фотографии сыновей. И мать смотрела на эту фото-

графию не отрываясь. Я заметил, как трясутся её морщинистые щёки вместе с подбородком и трясутся её руки, с трудом удерживая чашку, а сама она сдерживается, чтобы не заплакать. Она закрыла лицо руками, старик увёл её в другую комнату, мы встали из-за стола.

— После этой заметки, — сказал старик, — от них не было вестей, а времени прошло порядочно.

— Мой папа тоже не писал, его сбивали, — сказал Вовка, — а потом как стал писать, только читать успевай.

Старик с нами вышел за порог, попрощался со всеми за руку.

— А ведь что же получается, ребята, — сказала на улице староста, — неизбежно им придётся после нас делать генеральную уборку. Наследили всем классом и выпили весь чай.

— Отстань ты со своей уборкой, — сказал Вовка, — при чём здесь чай, неужели ты не понимаешь, что у них тревожное состояние. Мы им больше нужны в миллион раз, чем генеральная уборка.

— Обсудим всё, наметим, — сказала староста, — и постараемся их чаще навещать всем отрядом.

— Можно навещать и в одиночку, — сказал я.

— Кто согласен в одиночку? — спросила староста.

— Все согласны, — сказали ребята.



9. В гостях

Хлеб по карточке на СЕГОДНЯ мы съели ПОЗАВЧЕРА, а хлеб на ЗАВТРА — ВЧЕРА. Дадут ли мне на ПОСЛЕ-

ЗАВТРА? В других магазинах и на завтра не дадут. Нигде вперёд не дадут, а здесь, в ларьке у пристани, на **ПОСЛЕ-ЗАВТРА**.

На левой ладони вчерашний номер очереди, а на правой — сегодняшней. Пишут на ладони чернильным карандашом, чтобы очередь не потерять. Всё сейчас по карточкам. Только на рынке продукты без карточек у спекулянтов, да где у нас такие деньги. На хлеб можно вещи менять, да нам менять нечего. Давно всё поменяли.

— На послезавтра дают?

— Если бы не давали, не стояли бы, — отвечают из очереди.

— Везде стоят, — говорю.

— Какой у тебя номер?

Я показал.

— Где ж ты такие номера видел?

— Какие?

— Большие.

— Аа-а... значит, дают.

Подошла моя очередь, и хлеб кончился.

— Карточки не потерял? — беспокоится мама.

Страшное дело — карточки потерять. На месяц хлеба не увидим, не то что на послезавтра. Не такой уж я растяпа, чтобы карточки терять.

— Как-нибудь продержимся, — говорит мама, — а завтра нам хлеб дадут на **ЗАВТРА**.

— А что мы будем есть сегодня?

— Поедем в гости к тёте Сона, — сказала мама.

Сона Ханум, мамина подруга, жила в Бильгя. В селении Бильгя у тёти Сона огород, свой виноград и разные фруктовые деревья. Много овощей, а лепёшки они пекут сами. Я наелся и подумал: как жалко, что человек не может один раз наестся, чтобы потом долго не хотелось.

Сбегали к морю после обеда, но купаться не стали. У воды лежал мёртвый тюлень, раскрыв пасть. Зубы как у собаки. «Дяниз ит» зовут его здесь — «морская собака». Схватит за ногу морская собака, и не вылезешь.

Мама часто приносила копчёную тюленину, и мы её ели. Бывает же такое: ешь и не знаешь, что это морская собака.

— Да, не всегда здесь спокойно, — сказала тётя Сона, — в шторм волны доходят до дома. Иногда огород заливают. Даже тюленя выбросило.

Тётя Сона дала нам лепёшек и много зелени. Мы с мамой сытые, довольные, без конца благодарили, сели на хозяйскую арбу, сам хозяин взялся нас довезти до станции.

Но Боба не сел.

— Подарите мне бычка! — заорал он.

Хозяйский бычок замычал в ответ.

— Он просится ко мне, — закричал Боба, — отпустите его! Подарите мне его! Вы же видите, как он просится ко мне!

— Ах, как некрасиво, — сказала мама, — как нехорошо! Как стыдно! Нас угощали, надавали нам подарков, я не знаю, куда деться от стыда за своего сына!

— Ой, ой! — кричал Боба. — Дайте мне бычка! Я не поеду без бычка! Ни-ку-да я без него не поеду! Имейте в виду! О! О! Я для бабушки стараюсь!

— Для какой бабушки? — удивилась мама. — У нас и бабушки-то нет.

— Зачем ты говоришь, что у нас нет бабушки? — Боба вцепился в арбу. — Зачем ты так сказала? У всех есть бабушка!

— Нет у него никакой бабушки, — сказала мама, — что с ним?

— Не могут же тебе в самом деле отдать бычка, — сказал я, — пойми.

— Не могут? — спросил он. — Почему не отдадут?

— Потому что бычок им самим нужен, и он очень дорого стоит.

— Сколько?

— Что — сколько?

— Сколько стоит?

— Много.

— Тогда барашка! Ой! Ой! О! Подарите бабушке барашка! Я никуда не поеду, пока не подарят!

— Сажайте его, не обращайтесь внимания, дома я ему покажу, как устраивать истерики, сажай его, Сона Ханум, он мне надоел, — сказала мама.

— Он ребёнок, — уговаривала тётя Сона, — он расстроен, пусть он успокоится, немного подождём. Не плачь, как же мы тебе дадим барашка, он у нас один.

— Я для бабушки стараюсь! — вопил Боба.

— Нет у нас никакой бабушки, — сказала мама, — откуда он взял? Что за бабушка?

— Он очень расстроен, пусть, пусть отойдёт. — Тётя Сона его успокаивала, а он брыкался и отмахивался.

Муж тёти Сона терпеливо сидел на арбе и ждал. Все ждали.

— Один у вас барашек? — перестал орать Боба, но колеса арбы не отпускал. — Бедная моя бабушка!

— У детей своя фантазия, — объяснила тётя Сона, — они так фантазируют, что ничего не поймёшь.

— Он просто нахал, он меня выведет из терпения!

— Ах, как жалко, что у вас один барашек, — всхлипывал Боба, — значит, бабушка останется без барашка... Ну, тогда дайте мне курицу, она будет для бабушки нести яички. Моя старенькая, бедненькая бабушка...

— Не смей просить курицу! — закричала мама. — Как ты смеешь просить, и так мы не с пустыми руками уезжаем.

— Но бабушке ведь ничего не дали?

— Тащи его в арбу, Сона, бессовестный мальчишка! — закричала мама. — Придётся мне слезть самой и взяться за него. Спектакль на всё селение, сбежались все соседи, ай-й-й-й!

— Ой-ёй-ёй! — взвыл Боба. — Аа-а! Ии-и! Мне бабушку жаль! Ой-ёй-ёй! Бабушка теперь умрёт! Она умрёт! — Он топал ногами, а руками по-прежнему держался за колесо.

— Хватит! — Я соскочил с арбы. Стал отдирать его



от колеса, но мне не удавалось. — Я тебе сейчас дам курицу! Ты у меня курицу получишь!

— Оставь его, оставь, — повторяла тётя Сона, — не надо его тащить, не надо...

— Нет, нет, надо, надо... сейчас... сейчас я отдеру его от колеса и всё будет в порядке...

— Не обижайте его, — сказала тётя Сона, — зачем же...

— Боба!!! — закричала мама. — Прекрати!!!

И тогда с арбы соскочил хозяин и стал ловить курицу.

— Помогите мне кто-нибудь! — кричал он, гоняясь за курицей.

На помощь пришёл Боба. Они вместе гонялись за курицей и сталкивались друг с другом, а курица не давалась.

В конце концов хозяин поймал курицу.

— А она несёт яички? — спросил Боба.

— Несёт, несёт, — сказал хозяин поспешно, как бы боясь, что Боба снова закатит истерику, — честное слово, несёт.

— Бери, бери, — сказала тётя Сона.

Боба схватил курицу в охапку, прижался к ней щекой и сказал:

— Теперь моя бабушка будет довольна.

— На здоровье твоей бабушке, — сказал хозяин, — дай бог сто лет твоей бабушке!

— Ну что вы, что вы... — сказала мама, — курицу мы не можем взять...

— Возьмите... соседи... неудобно... — испугался хозяин.

— Отдай курицу! — сказала мама строго.

— Нет, нет, — замахал руками хозяин, — ни за что... — Он боялся, что ему вернут курицу и всё начнётся сначала. — Ваш мальчик золотой... пусть кушает... он для бабушки... цып, цып, цып, золотой ребёнок...

— Вы нам и так достаточно подарили, — сказала мама, — куда же ещё... нам неловко...

— Ловко! — почти закричал хозяин. — Ловко! Золотой ребёнок, золотые гости! Поехали! — Видно, мы ему надоели.

Тётя Сона нам помахала на прощанье.

Телегу трясло.

Боба всхлипывал.

— Сейчас зачем ноешь? — спросил, оборачиваясь к нему, хозяин.

— Бабушку вспомнил, — сказал Боба.

— Курицу ведь ты ей везёшь?

— Везу.

— Чего тебе ещё надо?

— Ничего.

— Ну и не хнычь.

Он замолк.

В электричке Боба вытер слёзы и улыбнулся.

— Он ещё улыбается! — возмутилась мама. — Такая некрасивая история, чудовищно! Позор, а он себе, представьте, улыбается!

— Курочка нам будет нести яички, — сказал Боба, улыбаясь.

— Прекрати улыбаться, — сказал я.

— Буду улыбаться, — сказал Боба.

— Но при чём здесь бабушка? — спросил я. — Где ты её выкопал?

— Тебе можно, а мне нельзя? — сказал Боба.

Я не понял, и он объяснил:

— Ты выдумал дядю, а я бабушку.

Проносилась Бильгя.

— К тёте Сона мы никогда уже не поедem, — сказала мама, — потому что скверно ты у меня воспитан, Боба.

10. Ноты

Отец написал, чтобы взяли его ноты, которые он оставил в музыкальной школе до войны.

Почему-то он о них вспомнил, и мы пошли с мамой за нотами.

Отец вернётся и снова будет преподавать музыкальную грамоту, теорию и сольфеджио.

— Люди стали сейчас другие, — говорила мама по дороге, — им не до нот. Нужно быть энергичной. Во время войны особенно нужно быть энергичной. С двумя детьми необходимо проявлять энергию.

С трудом пробрались к завучу, в коридоре такое творилось — тащили стулья, парты, музыкальные инструменты!

Завуч сидел за столом, очень важный, положив кулаки на стол.

Мы сначала спросили, куда мебель тащат, чтоб разговор начать, а он молчит. Очень важно на нас посмотрел и даже не шелохнулся.

Мама ему про ноты сказала, а он опять молчит.

Тогда моя мама как хлопнет по столу, а он вскочил и — в дверь.

— Эге, так дело не пойдёт, — говорит мама, — я энергичная женщина. Придётся вам отдать наши ноты! Пойдём за ним.

Очевидно, не хотел нам отдавать.

Он юркнул в дверь, но как раз в это время виолончель несли, он схватился за струны и здорово их дёрнул с испугу. Если бы не виолончель, он бы наверняка сбежал от нас. А что мы ему сделали? Ничего. Пришли за своими нотами. Потрудитесь отдать. В общем, мы к нему подскочили, а мама обратилась со своим вопросом.

Только сейчас я заметил, какой он маленький. Мамаша против него великанша, Гулливер среди лилипутов, пусть попробует нам ноты не отдать!

Приходилось беспрерывно отходить в сторону, всё время чего-то тащили.

Его прижимали к стене, и он хотел выбраться, а главное, сбежать от нас. Но по бокам мы стояли. С одной стороны я, с другой — мама.

Опять он не ответил, и мама очень энергично в третий раз об этом сказала.

Тогда он закричал:

— Какие ноты? Какие ноты?!

Он выскочил и убежал, а мы за ним, лавируя между мебелью.

— Что с ним? — спросила мама.

Я пожал плечами.

— Ничего, мы ему покажем!

— Не хочет отдавать, — сказал я.

— Там Моцарт, Мусоргский, Скарлатти, — сказала мама, и мы настойчиво стали пробиваться через мебельную и музыкальную преграду. Три великих композитора толкали нас вперёд.

Он было скрылся, но мы его снова нашли. Хотел пролезть за роялем, но мама властно спросила его про ноты, он вздрогнул и замер.

Пытался побежать в обратную сторону, но мы ему загородили дорогу.

— Нам нужны ноты, — сказала мама, — их теперь трудно достать.

Мама вела себя потрясающе энергично.

— Никуда мы не уйдём, — сказала она и села на стул, загородив ему путь.

Он испуганно схватился за голову:

— Вы что... вы что... гражданка... неужели вы не понимаете? — Ни с того ни с сего вдруг стал гладить меня по голове, повторяя: — Бедный мальчик... война...

Ну и завуч! Если бы у нас в школе такой завуч появился, вот потеха была бы!

Мама сказала:

— Редко встретишь такой экземпляр в нашей жизни...

Он даже не обиделся. Стал умолять, чтоб его пропустили. Редкий завуч, клянусь!

Мама встаёт со стула и угрожающе говорит:

— Можете вы мне что-нибудь вразумительное ответить, а не бегать? Я вам в сотый раз повторяю: мой муж здесь у вас оставил ноты, уезжая на фронт: Бетховена, Моцарта и других авторов! Где они? Где эти ноты, я вас спрашиваю?

А что сейчас идёт война, мы и без вас знаем! Некрасиво пользоваться войной!

Но он каким-то образом изловчился и выбежал.

— Оставь его, мама, — сказал я, — не можем же мы всё время за ним бегать.

— Нет, нет, я это дело так не оставляю!

— Вай, вай... — раздался откуда-то его голос.

— Пойдём за ним, — сказала мама.

— Не буду я за ним бегать, — запротестовал я.

— Надо довести дело до конца, — сказала мама. — Что мы напишем отцу?

Мы не заметили, как он вбежал в свой кабинет.

Мамаша отчаянно дёрнула дверь кабинета, и мы вошли.

За столом сидел другой человек. Из-за стола поднимался трясущийся завуч, показывал на нас пальцем и говорил:

— Они...

— Что у вас тут происходит? — спросил сидящий за столом.

— С кем имею честь разговаривать? — говорит ему мама.

— Я завуч школы.

— А с кем я имела честь разговаривать ранее?

— Одну минуточку... — попросил завуч. Он взял под руку дрожащего маленького человека и вышел вместе с ним из кабинета.

— Опять эти фокусы, — сказала мама. — Увиливают на глазах! В государственном учреждении и такое творится!

— Здорово смылись, — говорю, — ничего не скажешь! Но завуч вернулся.

— Видите ли, — сказал завуч, садясь на свою место, — это был сторож...

— Сторож? — переспросила мама.

Завуч кивнул головой и продолжал:

— Со своей работой он справляется отлично. Никогда ещё не было, чтобы в школе что-нибудь пропало. Обожает,

правда, сидеть за канцелярским столом, безобидная в общем прихоть, но мы ему не запрещаем. Прошу извинить, я думаю, вас не очень огорчило это недоразумение. Наш сторож глуховат. Он следит за порядком, убирает классы, очень исполнительный работник. Чем могу быть полезен?

Мама назвала свою фамилию, и завуч встал. Как видно, он знал и уважал моего отца.

Он назвал свою фамилию и опять спросил, чем может быть полезен.

— Ноты... — сказала мама.

— О да! — Он открыл ключом стол и вынул ноты. — Собирался вам отослать, а потом заботы, сына проводил...

Мама взяла ноты.

Мне было не по себе. Гонялись за бедным сторожем из-за каких-то нот. Подумаешь, ноты. Никто их присваивать не собирался, кому они нужны!

— Переезжаем в новое здание, — сказал завуч, — а здесь разместится госпиталь.

Мы попрощались и вышли.

— А я думала, и здесь будут преграды, — сказала мама. — Как просто нам отдали...

— Завуч и не думал ставить нам преграды, — сказал я, — и сын у него на войне. Напрасно только бегали за сторожем.

— Зачем же в таком случае он от нас бегал? — сказала мама.

— Ведь он же ничего не понял, — сказал я.

— Ах, верно, он глухой, — вспомнила мама, — и я забыла.

— Но мы ведь сначала не знали, что он глухой. Правда, мама? Если бы заранее об этом знали, ничего бы такого не случилось...

— Ах, я устала, — сказала мама, — я от всего устала. Конечно, получилось некрасиво.

Мы шли расстроенные, завернули на базар и забыли там ноты.

Сейчас же вернулись, но их уже на прилавке не оказалось.

Мы долго искали.

Мама плакала, если бы мама так сильно не плакала, я бы плакал сам.

Ведь это папины ноты.

11. Газеты

Наша курица снесла яйцо.

Мы ходили по комнате и взбивали гоголь-моголь. Взбивали по очереди и пробовали по очереди. Взбивали и смотрели, не стало ли больше, но больше не становилось.

— Не хватит? — спрашивали.

Мама заглядывала в стакан и говорила:

— Мало.

— А сейчас?

— Крутите ещё.

У меня уже рука отваливалась, но я крутил. Стёрлись на ладонях номера хлебной очереди. Гоголь-моголь стал белый, но больше его не стало.

— Ешь, Боба. — Я дал ему стакан, подошёл к газетной горе, которая немного не доставала до потолка, потрогал листы и сказал: — Они должны нас выручить. Бумага сейчас дорогая. На некоторое время они нас здорово выручат.

— Дай-то бог, — сказала мама, — никогда не думала, что нас эта груда выручит.

Я сказал:

— Кем только не мечтал я быть, но разве собирался продавать на базаре газеты?

— Не жалея, — поспешно сказала мама, словно боясь, что я раздумаю нести их на базар.

— Купи мне на базаре пирожок, — сказал Боба.

— Какой? — спросил я.

— Большой.

— Ну, это понятно, а с какой начинкой?

— С любой, — сказал Боба.

— С какой бы ты хотел? Я продам газеты и куплю тебе пирожок с любой начинкой.

— Купи хоть без начинки, — сказал Боба.

Я сидел на полу, перевязывал пачку газет бечёвкой, а мама и Боба смотрели на меня. Любимые мои газеты. Долго они пролежали...

— Ну, вот и всё, — сказал я. — Зачем только я собирал их...

— Чтоб продать, — сказал Боба.

— А дальше что?

— Снова собрать, — сказал Боба. Просто у него всё выходило.

— Кое-что ведь ты отобрал, — утешала мама, — особенно важные сообщения остались...

Что она понимала в важных сообщениях? В каждом номере важные сообщения. Кто сочувствовал мне? Никто. Взял пачку на плечо, и мама с Бобой пожелали мне счастливого пути.

Знакомые на улице заинтересовались:

— Куда ты?

Я кивал головой:

— Туда.

Там торговали и меняли. Обсчитывали и недосчитывали. Гадали и выигрывали. Обманывали и воровали. Продавали пышки, туфли, сапоги, кукурузные лепёшки, копчёную тюленину, селёдку, кружева, простыни, полотенца, тряпье, старые брюки и пиджаки, из которых шапочники делали шапки, яичный порошок, кокосовое масло, бусы, пирожки...

Газеты делились на одинарные и двойные — в один лист и в два. Для завёртки. Двойные дороже.

— Двойные газеты! — предлагал я.

— Продаёшь?

— Курточку не продаю.

— А жаль, несколько шапок получилось бы.

— А в чём ходить буду, как вы думаете?

— Не знаю, кепки хорошие получились бы, это я знаю.

— Соображать надо, дядя.

Газеты раскупали.

Опять этот тип:

— Курточку продай.

— А почему вы, дядя, не на фронте?

Сразу отстал. Видите ли, курточка ему нужна.

— Двойные газеты продаю!

Зеленщик жуёт хлеб, откусит, положит на горку с деньгами, трясёт пучком салата, а брызги летят во все стороны.

— Мальчик, подойди сюда.

— Чего вам?

— Газеты есть?

— Есть.

— Ещё есть?

— Дома есть.

— Много?

— Порядочно.

— Тащи завтра сюда, все куплю. Двойные как за оди-
нарные, оптом заберу.

— Вполцены?

— Зачем тебе ходить, учёбу запускать, для тебя ста-
раюсь.

Помощничек нашёлся, обо мне заботится. Другие люди
на базаре, другая жизнь.

— Нет, дядя, не пойдёт, половину денег маловато
за мои газеты.

— Всё не купишь, мальчик, никогда всё не купишь,
денег всё равно не хватит.

— А вам хватит?

Смеётся. Тоже мне хитрец. Ему никогда не хватит, а мне
должно хватить.

— Кого мы видим! — обступили меня старушки Доб-
рушкины, будто впервые видят.

— И вы здесь?

— А ты зачем здесь?

— Продаю свои газеты.

— А мы платочки с кружевами сами делаем и продаём.

— Отчего же вы ковры свои не продадите? Вся квартира у вас в коврах, а вы платочки...

Они нахмурились.

— Питаемся скромно, платочки нас выручают.

— Ковры бы вас сразу выручили.

— На чёрный день бережём.

— А мы всё продали, остались одни мои газеты...

— Ковры у нас уникальные, — сказали старушки.

Газеты мои тоже уникальные, подумал я, но я их продаю. Каждая моя газета стоит уникального ковра. Просто у нас чёрный день настал, а у них не настал, только и всего.

— Были бы у меня ковры, — сказал я, — продал бы я их все до одного, а газеты сохранил.

— Ах, какой ты умник-разумник! — Старушки обиделись и пошли с кружевными платочками вдоль зелёных рядов.

Я продал мои последние газеты и увидел вывеску. Под этой вывеской сидел старик с корзиной. Кривыми буквами было начиркано на дощечке: «БЫДЫС». Карманы мои были набиты деньгами, одна двойная газета стоила два рубля, я мог бы и БЫДЫС купить, но что это такое — не знал.

— Питис, — сказал старик.

— А у вас там написано быдыс, — сказал я.

— Пытис, — сказал старик.

— Там-то у вас быдыс, а вы то питис, то пытис, непонятно...

Старик вздохнул.

— Купи пытыс, — сказал он.

Ах, вот оно что! Он хочет сказать: купи птиц! И в этой корзине у него птицы. Как раз оттуда зачирикало, а потом пискнуло. Просто старик плохо по-русски выговаривает это слово, а пишет и вовсе быдыс. Надо же! Пять букв, и

все неверные. Да мне в школе за такое слово не то что единицу — ноль поставят.

— Якши быдыс, — говорит. Хорошие, значит, птицы.

— Давайте, — говорю, — дедушка, я вам надпись переделаю, никто ведь не поймёт, что у вас там написано.

А он мне птичку вытащил из корзины и показывает. Красивенькая птичка, прелесть, где он только её поймал.

— Не купят, — говорю, — у вас птиц, дедушка, с такой вывеской. Никто ведь не знает, что у вас там в корзине лежит. — Перевернул я дощечку, написал мелом «ПТИЦЫ» и говорю: — Вот так, теперь у вас торговля всюю пойдёт.

А он головой кивает и птичку мне протягивает.

Хорошо бы купить птичку Бобе, да ему сейчас пирожок больше нужен.

Иду, а в голове у меня БЫДЫС вертится.

Собачка за мной увязалась.

— Быдыс... — зову её, — быдыс...

Тут война, а тут быдыс... И там пять букв, и тут пять букв. Как бы, думаю, слово «война» переделать, чтобы вроде быдыса получилось. Старался, старался, бросил эту затею, война войной остаётся...

.

— Купил пирожок? — спросил Боба.

Я развернул бумагу, в которой были завернуты пирожки: один с мясом, один с картошкой, один с повидлом...

— Наши ноты! — воскликнула мама. — Тебе завернули в них пирожки!

— Надо всегда заворачивать пирожки в чистую бумагу, — сказал Боба.

Я постоял минутку, посмотрел, как он хорошо ест, схватил новую пачку газет и побежал менять их на папины ноты.

12. Дерево

Летят палки и камни в листву, ломают ветки. Сыплется тутовый красный дождь с камнями и палками. Бросаемся под дерево, сшибаемся лбами, ползаем по тротуару, суём в рот пыльные расплюснутые ягоды. Шарахаются прохожие, обходят стороной. Одна палка зацепилась за ветку и покачивается — целое бревно. Никто на неё внимания не обращает, лишь бы к ягодам успеть. В самом центре города, напротив университета, растёт это дерево.

— Голову свою не жалеют, так дерево бы пожалели, — закричали из окна университета, — прекратите кидать! Все разбежались.

Я стоял, прислонившись к стене, тёр ушибленное место. Палка с дерева всё-таки саданула мне по плечу.

— Я думаю, самое подходящее время, — сказал Толик, — залезть на дерево и потрясти.

Ни разу ещё не видел, что кто-нибудь из мальчишек осмеливался залезть на это дерево. У всех ведь на виду.

— Пока нет ребят, — сказал он, — время самое подходящее.

— Лезь, пожалуйста, — сказал я, — кто же тебе запрещает.

— Кто отгадает, в какой руке, тот и полезет.

— Что в какой руке? — Я не сразу сообразил.

— Да ну тебя, время не теряй.

— Ах, ну давай, давай! — Я взял поспешно с земли камешек. — В какой руке у меня камешек?

Он хлопнул по руке и отгадал.

— Значит, мне лезть?

— Тебе.

— Давай снова.

— Нечестно.

Дёрнуло меня его слушать! Я и не думал лезть.

— А ты с ягодами не сбежишь? Пока я слезу с дерева, сто раз сбежать можно.

— Да ты что?! — Он раскрыл на меня глаза, будто такое на свете быть не может, что он сбежит. — Нечестно ведь. — Он опять раскрыл свои глаза.

— Да брось ты, всё нечестно да нечестно, видали мы таких на базаре!

— Видали где?

— На базаре, где ещё. Разных там шапочников...

— Каких таких шапочников?! — Видно, не знал он никаких шапочников, в жизни их не видел.

— Каких, каких... — говорю. — Разные там кепки делают из брюк и пиджаков.

Он от меня даже попятился.

— Не мог ты меня видеть на базаре, чего мне на базаре делать?

— Ишь ты, не мог... я вот мог. Никак не пойму, притворяешься ты или нет.

— Чего же мне притворяться, когда я отгадал, — искренне удивился он, — а ты не отгадал, выходит, ты и притворяешься. Послушай, как же из брюк шапки делают, неужели правда?

— Делают, делают, — сказал я, — кепки, а не шапки.

— Никогда бы не подумал, это ведь чудеса!

— Не больно чудеса, — сказал я, — да ну тебя...

— На твоём месте я бы всё-таки полез на дерево, — сказал он.

— А если не полезу?

— Нечестно.

Глупо лезть, очевидно. Народ мимо проходит, неужели бы он полез? Обижается всё время, удивляется... Натрясу я ему ягод, а он их соберёт и уйдёт. Настанет тогда моя очередь удивляться и обижаться.

— А во что ты их будешь собирать? — спросил я.

— В кепку.

— Кепка, значит, из брюк, а в кепке ягоды?

Он снял свою кепку и стал её рассматривать.

— Да нет, — говорит, — не из брюк...

— А после ягод ты её на голову наденешь?

- Ну и пусть.
- Башка вся будет красная.
- Чего?
- Да ничего.

Надел он свою кепку и говорит:

- Побыстрей залезай, а то ребята возвратятся.
- Да ладно тебе подгонять, знаешь, как у меня плечо болит?

- Разойдётся, — сказал он участливо.
- Как же оно разойдётся?
- От движения и разойдётся.
- Да ну тебя, — сказал я и полез на дерево.

Он стоял, задрав кверху голову, и кричал:

- Выше! Выше! Ещё лезь! Теперь тряси!

Я потряс ветку. Сейчас же появились мальчишки, будто они только и ждали, когда я залезу на дерево. Они ему мешали собирать, но он всё время кричал: «Тряси! Ещё тряси!»

Вдруг он крикнул:

- Беги!

И ещё:

- Быстрей прыгай!

Но было поздно. Прыгать с такой вышины не представлялось никакой возможности.

Внизу все разбежались, остался дворник с метлой.

— Не надо прыгать, — сказал дворник, — слезай осторожно.

Но я полез выше.

Внизу собрались люди, показывали на меня пальцем и советовали дворнику, как меня снять. Вспомнилось — быдыс. Вот сижу я сейчас быдыс на дереве, суший быдыс, а дальше быдыса в милицию заберут...

- Проучите его! — закричали из окна университета.
- Слезай, слезай, — сказал дворник.

Из окна университета закричали:

— Потом такие в университет поступают, возись тут с ними!

Да не собираюсь я к вам поступать, тоже выдумали.

— Сле-зай, — сказал дворник по складам.

— А что вы мне сделаете? — спросил я.

— Ничего я тебе не сделаю, не сиди на моём дереве, — сказал он, — не могу смотреть, как терзают моё дерево...

— Разве это ваше дерево? — спросил я.

— Собственноручно посадил, — объяснял дворник окружившим его людям, — а теперь жалею. За годы войны один ствол остался, откуда только к лету ягоды берутся, не пойму.

Из университета вышел Пал Палыч, он там тоже преподавал.

Пал Палыч подошёл к толпе и увидел меня на дереве.

— Я прошу тебя слезть, — сказал он, — ты должен слушаться хотя бы своего учителя.

— Я должен слушаться вас в классе, а не здесь.

— Тебя учитель убедительно просит спуститься, — сказал Пал Палыч строго, как на уроке.

Сначала я заколебался, а потом сказал:

— Сейчас не урок.

— Это не имеет существенного значения в данную минуту, — сказал он.

«Возможно, сейчас лучше слезть, чем когда он уйдёт, а Пал Палыч меня в обиду не даст, но лучше не слезать», — подумал я.

— Вот опять ты споришь, как на уроке, — сказал Пал Палыч, — а говоришь, что ты не на уроке.

На этот раз я понял его и не ответил. Уселся поудобней на ветке, ясно, что не на уроке.

— Ну, я уйду, — сказал Пал Палыч, — не буду тебя смущать, а ты по крайней мере не упади. Расскажешь завтра, что с тобой произошло.

Один парнишка предложил свои услуги снять меня, но в это время из репродуктора на здании университета сообщили, что наши войска перешли границу Восточной Пруссии...

Все побежали через улицу к университету, поближе к репродуктору; внизу, под деревом, осталась одна метла.

Люди кричали «ура!», и я вместе со всеми заорал «ура!» и чуть не свалился.

Соскочил на землю.

...За углом Толик протянул мне кепку с ягодами.

— Бери свою долю, — сказал он, — долго тебя ждать пришлось.

— А я думал, что ты убежал.

— Да ты что?! — Он опять вытаращил на меня глаза.

— Громим фашистов на их собственной земле! — сказал я, запихивая ягоды в рот.

Он хлопнул меня по больному плечу и заорал:

— Урррра!!!

13. Алло, барон!

Наступила весна. Шли бои за Берлин.

Войне шёл конец, а Гитлеру капут.

Спорили, кому играть Гитлера. Вовка хотел играть барона, и я хотел.

— Барон, между прочим, тоже омерзительная фигура, — сказал я, — стоит ли спорить, оба мы с тобой омерзительные фигуры, если уж на то пошло.

— Но Гитлер ведь самая омерзительная фигура на свете, хуже не бывает; нет, барон всё же лучше.

— Чем же лучше, такой же фашист.

— Но это же Гитлер, понимаешь — Гитлер! — не соглашался Вовка.

— Согласен, — говорю, — играть Гитлера. Такого уроды изображу, что все от смеха лопнут. Для этого артисты и существуют, чтобы всех изображать. Пожалуйста, бери себе барона на здоровье. Над Гитлером всё равно больше смеяться будут. Не надо мной же, раз я артист. Весь успех на меня выпадает.

— Не хочу барона, — раздумал Вовка, — давай Гитлера. Я сам его так изображу, что все от смеха лопнут.

— Забирай, — говорю, — своего Гитлера.

— Почему, — говорит, — моего? — и опять обиделся.

Мы ни разу не выступали на школьных вечерах. Нам понравились куплеты в «Крокодиле», мы их выучили и решили выступить на Первомайском празднике. И не просто их читать, а петь. Во-первых, над фашистами поиздеваемся, во-вторых, Пал Палыча удивим, а в-третьих, сами понимаем, для всех стараемся.

Баянист уже сидел на сцене, приготовился играть «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Под этот мотив написаны куплеты. Вовка был здорово похож на Гитлера, усики себе нарисовал, чёлку на один глаз свесил, — ребята заорали, зашумели, даже засвистели. Школа у нас не очень образцовая, иногда свистят. «Фюрер! — орут. — Фюрер!» А я Вовке шепчу: «Гляди, как тебя здорово принимают, того и гляди в клочья разорвут». Нас обоих хорошо приняли. На голове у меня каска немецкая, я её на ушанку напялил, чтобы от движений не соскакивала. На рукаве повязка со свастикой, а в руках «шмайсер». Тоже, в общем, впечатление производил с автоматом.

Начал Вовка. Он топнул ногой и заорал:

Алло, барон, какие сводки?
Как битва на море идёт?
На сколько тонн сработали подлодки,
И как живёт немецкий флот?

Я скорчил противную рожу, на какую был только способен, сделал фашистское приветствие и самым что ни на есть гнусным голосом заныл:

Всё хорошо, могущественный фюрер,
Всё хорошо, и мы горды,
Спокойно всё среди полярной бури,
За исключением ерунды...

Мы даже вам не сообщали,
На барже кранец потеряли,
А в остальном, могущественный фюрер,
всё хорошо, всё хорошо!

Вовка ещё сильнее топнул ногой (поднялась пыль столбом) и завопил со страшной силой:

Алло, барон, какой там кранец?
Мне что-то трудно вас понять!
Как мог порядочный германец
На барже кранец потерять?

Я взвыл:

О майн гот, подлодка так пальнула,
Что не успели мы уйти,
А если баржа тотчас утонула,
То где же кранец тут найти?

Вовка-Гитлер зарычал:

Алло, барон, я так взволнован,
Как все арийские сердца,
Скажите всё же вы мне снова,
Всё от начала до конца.

Я ответил:

Шёл караван наш в Баренцево море
Тоннажем в триста тысяч тонн,
Он был в безбрежном северном просторе
Советской лодкой окружён.

После этих слов я начал кидаться по сцене в разные стороны и затараторил с необыкновенной быстротой:

Торпеды бешено рвались,
А мы бежали вверх и вниз,
Наш транспорт скрылся под водой
Сперва один, потом другой.
Чтоб смерить моря глубину,
Эсминец наш пошёл ко дну,

Нас били тут и били там,
Обломки плыли по волнам,
А в основном, могущественный фюрер,
всё хорошо, всё хорошо!

Мы подбежали друг к другу, развернулись к зрителям и закончили:

Всё хорошо!

Нас вызывали, и мы повторяли.

Успех был колоссальный.

Пал Палыч, наш строгий Пал Палыч, директор и завуч хохотали и хлопали.

Шум в зале стих, и Вовка сказал:

— Дорогие ребята, дорогие наши учителя, завуч и директор! Мы с Петей Ивановым как следует подумали и после долгих наших раздумий решили сдать в школьный музей немецкие трофеи, которые наши воины забрали у фашистов и которые мы потом нашли на свалке. Перед вами немецкий пистолет-пулемёт «шмайсер», и ещё есть три карабина австрийского происхождения, шесть немецких касок, слегка потёртых, побывавших в употреблении, одна из них сейчас на голове у Пети Иванова. Мы очень рады обогатить наш школьный музей, принести в дар наши скромные подарки, которые мы добыли на свалке с таким трудом... то есть я хочу сказать... без всякого труда, в общем, мы очень рады... и всё...

Ребята завопили, обрадовались, а я соскочил со сцены, подбежал к военруку и вручил ему автомат. А Вовка закричал со сцены:

— Остальное завтра принесём!

Ребята повскакали со своих мест и бросились к военруку, но он на них крикнул, голос у него зычный, любого перекричит, — и все назад. Передача оружия не совсем получилась, но ничего ведь страшного не произошло. Мы сильно вспотели, а голова моя в ушанке с каской прямо раскалённой сделалась.

— Пошли купаться, — сказал Толик.



Купаться холодно, и купальня ещё закрыта, но мы пролезли под настилом эстакады, разделись и поплыли.

— Отлично! — отфыркивался я в холодной воде.

— Красота! — орал Вовка.

— Настоящая красота, — сказал Толик.

Пошёл крупный дождь, и море, казалось, потеплело. Взметнулась в небо радуга, и мы залюбовались.

Дождь быстро прошёл.

Мы запрыгали под радугой, запели наши куплеты, наверное, было слышно на бульваре.

— Нырнём ещё?

— Нырнём.

Подул внезапно ветер. Закачалась старая купальня, закрипела. И радуга пропала. Задёргались судёнышки, заходили мачты яхт.

— Алло, барон, какие сводки? — запел Вовка.

— Меняется погода, — сказал Толик, — давайте вылезать.

Море забурлило, и нас кидало как мячики.

Вылезли из воды и заплясали, чтобы согреться.

Небо прояснилось, и опять появилась радуга.

Море разделилось на три части: первая часть свинцово-холодная, вторая свинцово-красная и третья синяя...

14. Полосы на окнах

Бумажные полоски клеились на окна крест-накрест, чтобы уберечь стёкла от взрывной волны. Наш город не бомбили. Стёкла пылились, а полосы желтели.

А сейчас мама, Боба и я снимали газетные полосы, мочили их водой, счищали.

Потом мыли стёкла.

Они становились чистые и прозрачные.

— Я что-то нашёл, — сказал Боба, царапая подоконник.

Моя пуля, удивился я, вот она где застряла. А мы-то её искали! Везёт Бобе, всегда всё найдёт.

— Соскобли-ка вон ту полоску, — отвлёк я Бобу и выковырял пулю на память.

— Здесь что-то было, а теперь нет, — сказал Боба, возвращаясь к подоконнику.

— Тебе, наверное, показалось, — сказал я, и он недоверчиво на меня покосился.

— Звонила тётя Сона, — сказала мама, — приглашает нас в гости, а мне до сих пор за Бобу стыдно, как вспомню...

— Он был тогда ещё совсем малыш, — заступился я за Бобу, — а тётя Сона ведь знает, что наш папа погиб на войне...

Вернулся отец Вовки.

Не вернулись к старикам их сыновья.

Поблёскивала на стене рядом с портретом отца выточенная мною звёздочка.

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ

Очень редкая рама

— ...вот бухта, вот корабли...

— А это?

— А это, вдали, «девичья башня», товарищи, с неё, с этой неимоверной высоты, когда-то... дай бог памяти... прыгнула в море заточённая красавица... тогда воды моря омывали эту башню, так сказать, со всех сторон... Обращаю ваше внимание на многочисленные плоские крыши домов... этот фактор, как вы сами понимаете, говорит о том, что осадков в нашем городе выпадает незначительное количество...

— А это?

— ...эти красные цветы, товарищи, так называемые олеандры... Обратите внимание... вы видите громадную фигуру Кирова... Киров как бы стоит над бухтой... он приветствует этот чудесный город с этой горы... А сейчас мы снимемся на фоне нашего великолепного города, который расположен на берегу Каспийского моря, как вы сами видите, товарищи...

— На фоне кораблика!

— На фоне кораблика, товарищи, сняться нельзя, потому что он, как вы сами понимаете, не будет виден на фотографии.

— Ой, почему же?

— А потому, товарищи, что он на весьма далёком расстоянии находится от нас, что вы сами, естественно, видите.

— А может, получится?

— Нет, товарищи, я уже вам сказал, он не получится. Кто любит экзотику, садитесь на камни, а кто не любит, вот встаньте сюда, вот так... весь Баку будет как на ладони, что, вы сами понимаете, очень ценно... Фотографирую, товарищи, фотографирую, раз! Всё, товарищи. Разойдитесь, и в положенное время снова соберётесь для дальнейшего движения...

Все расходятся. Я подхожу к отцу. Он вытирает платком лицо. Жара в нашем городе сильная.

— Тебе чего? — спрашивает отец.

— Очень редкая рама, — говорю я.

— Опять рама?

— Очень редкая, — говорю я.

— Отстань, — говорит отец. — Все собрались? (Это он говорит не мне.) Продолжим шествие, товарищи... Все идут за отцом.

— ...я хочу обратить ваше внимание на то, что ветры в нашем городе дуют двести сорок дней в году... Но бухта, товарищи, расположена таким образом...

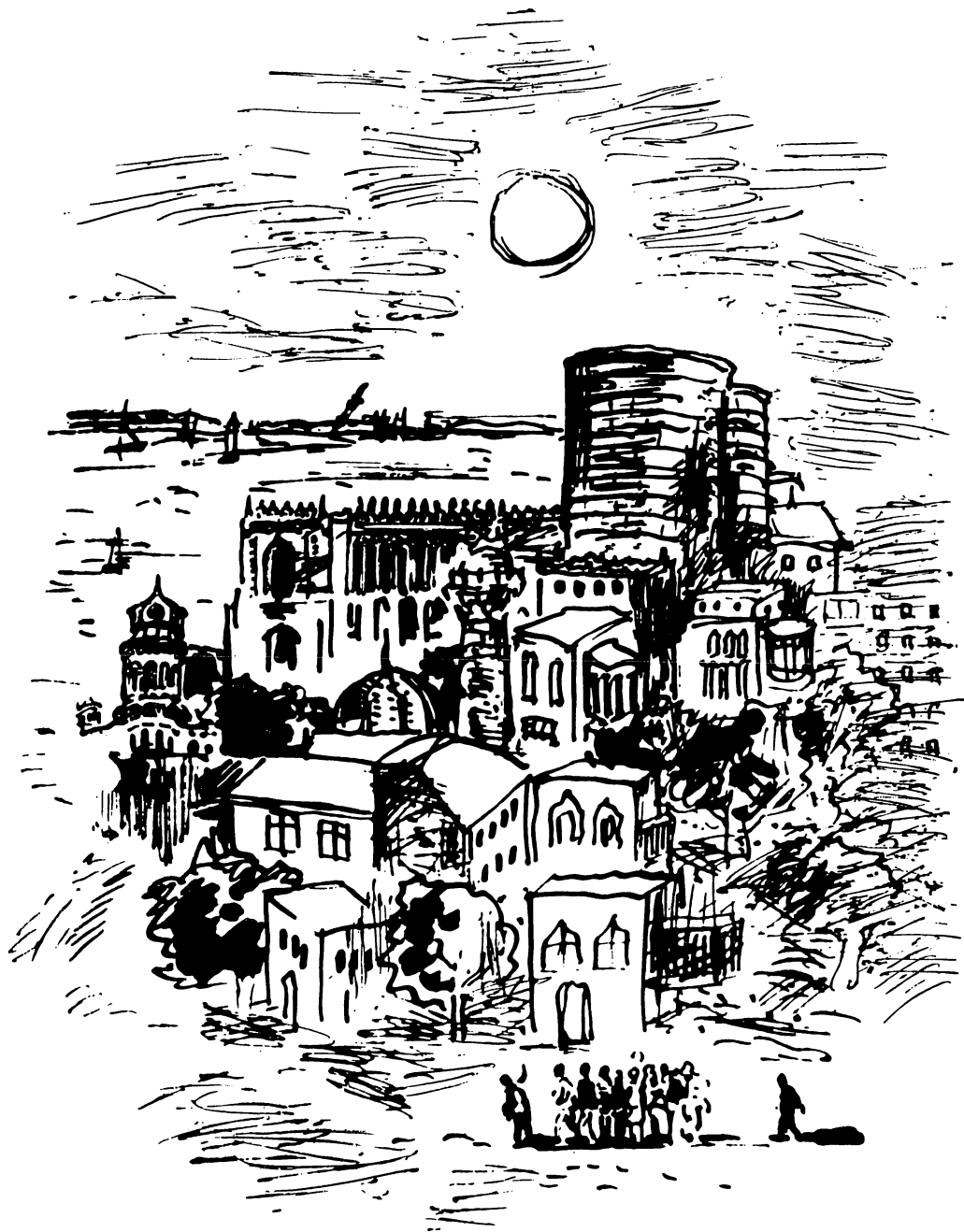
Я плетусь сзади. Вся пыль летит на меня.

Если он мне не купит эту раму, я просто не знаю, что мне делать, где мне деньги доставать тогда... Картины без рам — не картины. Вот я был в музее. Там все картины в рамах. Висят как настоящие. Напишу я потом картины масляными красками. А рам у меня не будет...

— ...отсюда, товарищи, с этой высоты, вы видите бульвар... которого раньше, как вы сами понимаете, не было... Было море... По этому факту вы можете себе представить, насколько обмелело море, которое даёт испарений... чтобы не соврать...

— Неужели так обмелело?

— Вот именно, товарищи... вы правильно заметили... оно обмелело именно до такой степени... И жара и время...которое, так же как и жара... постепенно...



Все с удивлением смотрят на море. Качают головами и вздыхают.

Я думаю о раме. Эта рама сейчас у меня перед глазами. Такую раму просто представить себе трудно! Потом такой рамы ни за что не найдёшь, уж в этом-то я уверен!

— ...изменения, изменения, всюду большие изменения...

Пыли-то сколько!

— ...если вы не устали, мы можем пройтись...

Неужели не устали? Я и то устал.

— ...отдохните и соберитесь для дальнейшего движения...

Все расходятся, курят. Без конца говорят о том; до чего всё-таки удивительно обмелело море.

Отец остался один. Я подхожу к нему.

— Ты всё ещё здесь?

— Такая рама! — говорю я.

— Это бессмысленно — покупать какие-то рамы! — говорит он.

— Если б ты видел эту раму! — говорю я.

— И видеть не хочу, — говорит он.

— Мне нужна рама!

— Для чего?

— Ты увидишь её! Увидишь! Я не знаю, что с тобой будет, если ты эту раму увидишь! Ты такую раму ещё никогда не видел!

— У тебя нет картин, — говорит отец. — Ни одной нет картины. Господи! Зачем тебе рама?

— Картины будут, — говорю я, — были бы рамы!

Он смотрит на меня так, будто я вру.

— Стал бы я покупать эти рамы, если у меня картин не будет!

— Чтоб это было в последний раз!

Он даёт мне деньги.

— Ты увидишь её! — кричу я.

— Ах, — говорит отец, — пошёл ты от меня со своими рамами!

Самая большая рама

Она стояла в коридоре, громадная, до потолка.

Самая тусклая лампочка светила в этом коридоре. Самая прекрасная рама мерцала в полутьме. Покрытая пылью, увешанная тряпками, эта рама не сразу была заметна. На раме стоял горшок.

Но я сразу заметил её. Протёр рукавом. Это была очень старая, очень красивая рама.

Отец с матерью сидели в бабушкиной комнате и пили чай, а я всё ходил возле рамы в бабушкином коридоре. Я рассуждал про себя: «Если бы эта рама была нужна, на неё не ставили бы горшок. Не вешали бы тряпки. Она не стояла бы здесь в пыли. Но в то же время она, может быть, **НУЖНА**. Она, может быть, **ПОКА** стоит. А **ПОТОМ** она будет нужна. Если бы это была не бабушкина рама, можно было бы спросить, не продаётся ли она случайно. Ничего в этом нет такого. Может, люди хотят продать. А я хочу купить. Почему бы им не продать, если у них покупают? Но не будет же моя бабушка продавать мне раму! Она может только мне её подарить. А просить о том, чтобы она мне её подарила, было неудобно». Раньше, когда я был поменьше, я легко мог спросить у неё что угодно. Но сейчас не мог. Сколько слышал я разных слов: «Не волнуй бабушку», «Наша старенькая бабушка может умереть», «Не приставай к бабушке», «Не расстраивай бабушку», «Как тебе не стыдно такое спрашивать у бабушки», «Кто тебе позволил так разговаривать с бабушкой!» Нет, не мог я спросить у бабушки про эту раму. Я не был уверен в том, что это **МОЖНО** спросить. Что в этом нет ничего такого.

Обо всём этом я рассуждал в бабушкином коридоре.

Потом меня позвали в комнату, и бабушка угощала меня вареньем и всё повторяла, что давно меня не видела и хочет посмотреть на меня как следует, а я думал только о раме. Если мне что-нибудь в голову приходит, то обратно уже оттуда не уходит. Я думал, какую громадную

картину можно вставить в эту раму, о том, в каком месте в нашей квартире можно повесить картину в такой раме, о том, сколько времени мне придётся писать такую картину.

— Раньше он был гораздо веселей, — сказала про меня бабушка. — И варенья всё время просил, а сейчас даже варенья не просит.

— Скоро он чего-нибудь покрепче затребует, — сказал отец.

— Чего потребует? — спросила бабушка.

— Ничего, — сказал отец.

— Не болтай ты, — сказала мама.

Бабушка спросила, не поставить ли ещё чаю, а я вдруг спросил, не мешает ли бабушке рама, когда она ходит на кухню ставить чайник.

— Голубчик ты мой, — сказала бабушка, — мешает она мне ужасно. Только родной внучек может о бабушке вспомнить, понять её, как ей эта рама проходу не даёт... Все коленки себе поотбивала, спину оцарапала, бок себе чуть не своротила об эту проклятую раму...

Никогда не любил я так бабушку! Ей не нужна была рама.

— О чём это вы? — спросила мама. Больше всего на свете ненавидела моя мама рамы. Будто эти рамы её в могилу загонят. Будто все беспокойства из-за рам. И беспорядок в доме.

Когда мама увидела эту раму, она закричала:

— Так вот к чему он клонит? Вот почему он так заботится о своей бабушке! Вот она, чистая, бескорыстная, добрая душа! Вот он, удивительный, художественный ребёнок! И ты думаешь, я позволю тебе тащить этот хлам в квартиру? Неужели ты мог хоть на миг об этом подумать?

Если мама начнёт кричать, она не остановится. Она будет кричать до тех пор, пока не устанет.

— Мне нужна рама! — кричал я. — Мне нужна рама! Мы с мамой так кричали, что бабушке стало плохо.

— Что ты сделал с бабушкой! — возмущалась мама.

Отец стоял и молчал. Смотрел, что дальше будет. А потом как закричит:

— В конце концов я ему ПОКУПАЮ рамы! А эту раму ему бесплатно дают!

Тогда мама сказала:

— Я не хочу быть свидетелем этого безобразия! — Она хлопнула дверь и вышла.

Мы с отцом вынесли раму.

Бабушка крестилась.

— Чтоб позолота не слетела! — орал я. — Осторожно, чтоб позолота не слетела!

Отец сказал, что, если я так буду орать, он сейчас же бросит раму.

Тогда я замолчал.

Мы её молча несли по улице. А мама где-то шла впереди. Мне казалось, что мы несём не раму, а что-то такое, что нельзя объяснить.

Интересно, что тогда скажет мама, которая сейчас против этой рамы, когда она увидит в ней мою картину, а вокруг этой картины толпа и все спрашивают: «Скажите, вы не знаете, кто написал эту картину? А смотрите, как прекрасно подобрана рама!» Интересно, что она тогда скажет? Она тогда, наверное, скажет: «Я ничего подобного не говорила, я всегда была за то, чтобы взять у бабушки эту раму».

Рама простояла у нас весну, лето и осень.

Часто мечтал я о той картине. Которая будет в этой раме. Это должна быть замечательная картина. Может быть, это будет морская картина. Море и луна. Или море без луны. Или даже не море. А какая-нибудь пальма. Или даже не пальма. А какая-нибудь военная картина. А может быть, и не военная. Может быть, какая-нибудь другая замечательная картина.

Однажды зимой, поздно вечером, мы с отцом пришли из бани и радовались, что в комнате так тепло. Мы пили



чай и хвалили маму. Ведь она затопила печку! А мама улыбалась.

И мы тоже пили чай и улыбались.

Вдруг мама спросила:

— А знаете ли вы, что́ я сожгла?

Я сразу что-то почувствовал и стал смотреть по сторонам, и не мог догадаться, но почему-то вдруг испугался и не хотел, чтобы она говорила дальше.

Но мама сказала:

— Я сожгла вашу дурацкую раму.

Я поперхнулся чаем, а потом заплакал.

— Лучше бы ты не трогала эту раму... — сказал отец.

Алька

Я волосы отрастил, и они у меня назад зачёсывались. Меня стали дёргать за волосы. «Попом Толоконным Лбом» звать, «Мочалкой».

Я наголо постригся, Ещё хуже стало. «Лысый! — кричат. — Кочан капусты!» По голове часто гладят.

Сижу я со своей лысой головой на задней парте. Приходит к нам в класс новенький. Такой чёрненький, и глаза чёрные. Его со мной посадить хотели. Как раз я один сидел. А он не хочет.

— Это почему же, — спрашивает Мария Николаевна, — ты с ним сидеть не хочешь?

А он твёрдо так отвечает:

— Я с ним сидеть не буду.

— Это почему же? — спрашивает Мария Николаевна.

— Потому что он лысый.

Хотел я вскочить, дать ему за это.

Мария Николаевна говорит:

— Что за чушь! Он, во-первых, не лысый, а постриженный, а, во-вторых, если бы даже он и был лысый...

Он твердит:

— Я с ним сидеть не буду.

— Почему же ты всё-таки с ним сидеть не хочешь? — спрашивает Мария Николаевна.

— А потому, — отвечает, — что я уже с лысым сидел, так меня с ним заодно дразнили, хотя я и не был лысый.

— Какая дикость! — удивилась Мария Николаевна.

В конце концов он всё же сел.

Со мной не разговаривает. В мою сторону не смотрит. Я тоже на него не смотрю, но вижу, что он листок вынул и что-то рисует.

Вижу я — рисует он конницу, скачущую в атаку. До чего здорово у него получалось — ну как у настоящего художника! Как будто он сто лет учился. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь так коней рисовал. Я сразу подумал, что мне так никогда не нарисовать, сколько бы я ни старался, но в то же время, если я как следует постараюсь, я не хуже нарисую.

Я хотел показать ему, как надо рисовать. А потом сделал вид, что не вижу. Он ведь не знает, что я лучше всех в классе рисую. Скажет, я подражаю. Скажет, я обезьяна какая-нибудь или там попугай.

Ничего. Потом он узнает, кто с ним рядом сидит! Потом он узнает, какие я стенгазеты рисовал! Какого я Шота Руставели нарисовал. Какого я лётчика Покрышкина нарисовал, трижды Героя Советского Союза!

Пусть, пусть рисует!

А потом думаю: он, наверное, вовсю сейчас воображает. Сидит и воображает, будто никого на свете лучше нету. Выходит, он будет здесь воображать, а я? Просто так буду сидеть?

Я вырвал листок из тетради. И стал рисовать танки, идущие в атаку.

Он сначала не заметил, что я тоже рисую, или он не хотел замечать, а потом заметил и рисовать перестал.

На мой рисунок глядит.

Я это сразу почувствовал. И вовсю рисую, на него ника-

кого внимания не обращаю. Только локтем свой рисунок закрываю, чтобы он не видел.

Вдруг он говорит:

— А ну, покажи.

— Чего, чего? — говорю.

— Покажи, — говорит, — что ты там такое начирикал.

— Чего, чего? — говорю.

— Ас, ас! — говорит.

— Чего? — говорю.

— Осторожно! — говорит. — Ас, ас!

— Что это, — говорю, — ещё за ас, ас?

— Ра-ра! — говорит. — Ра-ра! Работай.

Вот нашёлся какой! Какие-то слова мне бормочет. Удивить, наверное, меня этими словами хочет. Что бы, думаю, ему такое ответить, чтобы он так со мной разговаривать перестал. В это время он мне говорит:

— Вот если тебя спросит кто-нибудь: «Ты не кр?» — ты что ответишь?

— Чего, чего? — говорю.

— Нужно ответить: «Я не крр!» Понятно?

Тут я разозлился и говорю ему:

— Крыса ты!

Я сам не знаю, почему его крысой обозвал. Просто ничего другого мне в голову не пришло.

Он поднимает руку и говорит Марии Николаевне:

— Он меня крысой обозвал!

Мария Николаевна говорит:

— Как тебе не стыдно, Стариков! К нам пришёл новенький, он, наверное, стесняется, а ты его крысой обозвал...

— Кто? — говорю. — Он стесняется?!

До чего меня зло взяло, вы не представляете!

— Если ты мне сейчас не ответишь, с какой скоростью летят навстречу друг другу самолёты, ты покинешь класс...

Я встаю.

— Какие самолёты? — спрашиваю.

Я, наверное, здорово моргал глазами, потому что Мария Николаевна вдруг сказала:

— Брось моргать! Ну-ка, брось моргать! Дурачка представлять!

Моргал-то я просто случайно. Но я ничего не ответил. И всё молчал. А про эти самолёты я вообще ничего не слышал.

— Ну? — говорит Мария Николаевна.

— Повторите, пожалуйста, про эти самолёты, — говорю.

— Выйди, будь добр, из класса, — говорит Мария Николаевна.

— Если бы вы повторили ещё раз... — говорю.

— Я не могу слушать твои речи, — говорит Мария Николаевна.

Я собираю книги. Ничего такого я не сделал. Если бы я, там, мякнул, как в прошлый раз. А сейчас? Его ко мне посадили, а я виноват!

Я сижу на последней парте. Иду медленно к двери. Через весь класс.

— Страна залечивает раны после войны, — говорит вслед мне Мария Николаевна, — миллионы заняты созидательным трудом, миллионы трудятся, а один...

Я уже возле двери.

— Подожди, — говорит Мария Николаевна.

Я останавливаюсь.

— Подойди-ка сюда.

Я подхожу.

Она почему-то волнуется. Вот уже совсем непонятно. Ей-то чего волноваться? Меня из класса выгоняют, а она волнуется.

Я стараюсь больше не моргать.

— Тебе не стыдно? — говорит Мария Николаевна.

Она держит в руках ручку, наверное, мне двойку хочет поставить. А руки у неё сильно дрожат. Это, наверное, потому, что она очень старенькая. Говорят, у старых людей всегда руки дрожат от старости...

— Я к тебе хорошо отношусь, — говорит она, — и ты,

Стариков, способный человек. А ведь ты мне на голову садишься... И потом, пожалуйста, не воображай. Ты можешь пропасть... как камень, брошенный в море. И не улыбайся. Пропадёшь или будешь босяком вместе со своими художествами. Если не будешь учиться... Люди, честно не относящиеся к своему труду, обычно плохо кончают...

Она не собирается мне ставить двойку.

— Стенгазету нарисуешь? — спрашивает меня Мария Николаевна.

— Нарисую, — говорю.

— Чтобы была на славу, — говорит она.

— Ладно, — говорю я.

— Разве ты для меня стенгазеты рисуешь? — говорит она.

Я иду на место. Сажусь рядом с новеньким.

— Ра-ра! — говорит он тихо. — Ра-ра! — Прямо в самое ухо мне говорит, представляет?

Я встаю.

— Я с ним сидеть не буду, — говорю я.

Мария Николаевна смотрит на меня и хмурится.

— Я с ним сидеть не хочу, — говорю.

— Выходите оба! — говорит Мария Николаевна. — Я не желаю слушать ваши речи!

Мы оба выходим.

Я с одной стороны. Он с другой. Я первый вышел в коридор, а он за мной.

Вдруг он говорит:

— Слушай, тут, наверное, разные завучи ходят... Пойдём в уборную.

— Я в уборную не хочу, — говорю.

— Самое безопасное место, — говорит. — Сиди себе в полной безопасности.

Я сначала совсем не хотел в уборную идти. А потом пошёл. И вправду, думаю, там, наверно, безопаснее.

Каждый в свою кабину сел. Сидим себе в полной безопасности. Здорово это он придумал!

Сидели, сидели, он мне постучал.

- Сидишь? — спрашивает.
- Сижу, — говорю.
- Как тебя звать? — спрашивает.
- Витька, — говорю.
- А я Алька, — говорит.
- Очень приятно, — говорю.
- Очень приятно, — говорит.

У нас с ним много общего оказалось. Масляными красками он, оказывается, так же как и я, никогда не писал. И рисовать его тоже никто не учил. Он сам всему научился. Он с самого детства на асфальте рисовал. Пойдёт с бабушкой в садик и рисует мелом на асфальте. Я стал вспоминать и вспомнил, что я раньше тоже рисовал на асфальте.

- Ты много на асфальте рисовал? — спросил он.
- Много, — сказал я.
- Хорошая школа, — сказал он.
- Какая школа? — не понял я.
- Художественная, — сказал он.
- Ага, — сказал я. Хотя всё равно не понял.
- На асфальте. На бумаге. На холсте, — сказал он.
- Ну да, — сказал я.
- Все истинные художники начинали рисовать на асфальте, — сказал он. — Так мне один художник сказал.
- Конечно, — сказал я. Хотя я никак не мог понять, почему они все начинали рисовать на асфальте.

Он опять постучал мне.

- Ты чего молчишь? — говорит.
- Достаточно ли я рисовал на асфальте? Стану ли я истинным художником? Вот о чём думал я.
- Ты что, заснул? — спросил он.
- А ты много рисовал на асфальте? — спросил я.
- Как помню себя, — сказал он.
- Я когда-нибудь нарисую громадную картину, — сказал я, — до потолка... у меня была рама... громадная рама... мама её в печке сожгла. Жалко мне эту раму...
- Если быть художником, — сказал он, — только

великим. Мне один художник сказал, что не великим художником быть не стоит.

— Бей пять, — сказал я.

— Потом, — сказал он.

— Конечно, — сказал я.

— Звонка что-то нет, — сказал он. — Долго мы здесь сидим. Мне по чувству кажется — звонок должен быть.

— Наверное, ещё рано... — сказал я.

— Пойди-ка ты на разведку, — сказал он.

— На какую разведку? — спросил я.

— Был звонок или нет, — сказал он.

— А ты? — спросил я.

— А я посижу.

— Хитрый ты.

— А ты трус.

— Я не трус, — сказал я.

Я вышел из кабинки. Просунул голову в коридор и увидел директора. Он поманил меня пальцем.

— Разве ещё звонка не было? — спросил я растерянно.

— Иди, иди сюда, — сказал он.

На другой день мою маму вызвали в школу.

Пётр Петрович

Пётр Петрович ходит по классу.

Он очень худой и высокий. В солдатской гимнастёрке, в сапогах. Гвардейский значок на груди. Два ордена Красной Звезды.

Пётр Петрович проверяет, все ли принесли краски.

Краски принесли не все.

— Я никогда не понимал таких людей, — говорит он, — которые не любят краски... Тинторетто! Тициан! Делакура! Они все любили краски. Запомните их имена! А Суриков! Посмотрите «Боярыню Морозову»! Посмотрите эту картину — и вы будете приносить в класс краски...

Пётр Петрович вынимает из портфеля глиняный горшок и сиреневую тряпку. Кладёт эти предметы на стол. Один конец тряпки он засовывает в горлышко кувшина, а другой свисает на стол.

— Все набрали в баночки воду? — спрашивает он.

Воду в баночки почти никто не набрал. Полкласса идёт за водой.

— Неужели нельзя было приготовиться? — Пётр Петрович садится за стол и так сидит, обхватив голову руками.

Один за другим входят с баночками, стаканами, чашечками ученики.

В классе шум, разговоры.

Пётр Петрович всё так же сидит, обхватив голову руками.

— Значит, все приготовились? — Он встаёт, ходит по классу. Кладёт на парты листки рисовальной бумаги.

Урок рисования начался.

Со всех сторон кричат:

— Пётр Петрович, посмотрите у меня!

— Пётр Петрович, посмотрите у меня!

— Пётр Петрович!!!

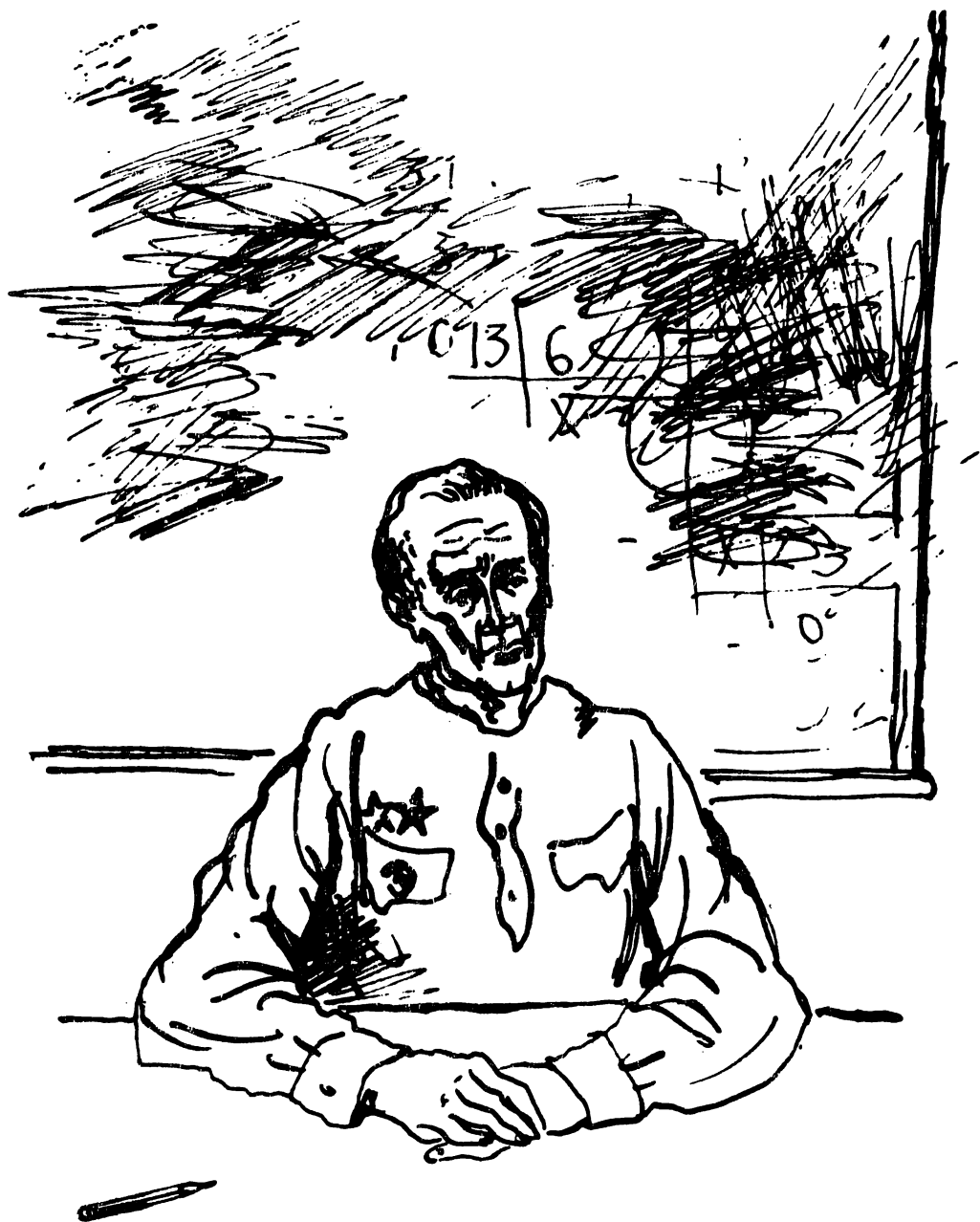
Он смотрит у всех.

— Начало хорошее, — говорит он. — Начало хорошее...

Класс стихает. Почти все довольны. Начало почти у всех хорошее.

Пётр Петрович сидит за столом, подперев рукой щеку, и рассказывает:

— Когда я был ещё студентом, на одной выставке висела моя большая картина... Так вот ты, Кафаров, спрашиваешь, почему я не знаменитый художник? Гм... как бы тебе сказать... Я, конечно, не знаменитый художник, ты правильно это заметил... совершенно справедливо это подчеркнул... Я... мне война помешала... большая семья... ну, как бы это тебе сказать, дорогой мой... Та картина, о которой я только что говорил, была достойна висеть



в ряду уважаемых художников... Я к тому это всё говорю, что... по существу, ты, Кафаров, задал мне довольно сложный вопрос, на который я тебе ответить, пожалуй, и не смогу... учитывая всю сложность жизни человека...

В классе тихо. Хотя часто бывает шумно. Почти никто не рисует. Все слушают. Тася Лебедева раскрыла рот и глядит на Петра Петровича. Залетит ей муха в рот, не будет так рот раскрывать...

— А где сейчас та картина? — спрашивает Кафаров.

— Сейчас я даже не знаю... Дальнейшая судьба этой картины мне неизвестна. Её ведь у меня купили... Висела она в большом зале...

— Я видел! — кричит Кафаров.

— Ты не мог её видеть, потому что это было в Ленинграде. Я как сейчас её помню: висит в большом зале... прекрасно освещённая... толпы народа... разговоры... даже споры... Я как раз тогда на пятом курсе в Академии художеств учился... несколько злоупотреблял красочной стороной в ущерб рисунку... И зачем я это всё вам рассказываю, и сам не знаю... Так вот... вспомнил, как говорится...

— А ещё вы рисовали? — спрашивает Кафаров.

— Картины не рисуют, а пишут красками. Рисуют карандашами, углем, пастелью. Я вам это уже говорил.

— Всего одну картину написали? — спрашивает Кафаров.

— Когда ты подрастёшь, ты не будешь так думать, как сейчас... Я прекрасно понимаю, о чём ты хочешь сказать... Я вовсе не для того вам это рассказываю... Кстати, я сейчас урывками пишу картину, которая у меня нехудо получается... Да будет вам известно, что Александр Иванов двадцать пять лет писал одну картину...

Кафаров больше ничего не спрашивает.

Никто больше ничего не спрашивает.

Зазвенели кисточки о баночки, стаканы, чашечки. Все снова рисуют. Даже Кафаров, который ненавидит

рисовать, даже он язык высунул, до того старается. Все рисуют горшок и тряпку. Все словно хотят стать великими.

Никогда я не думал, что этот горшок и тряпку так трудно рисовать! Во-первых, один бок у горшка получается кривой. Во-вторых, он не получается круглый. А в-третьих, всё не так получается.

Я спешу исправить рисунок. Пока Пётр Петрович не видит. Хотя бы этот кривой бок подправить, пока он не увидел. «Вот тебе, — скажет, — и лучший рисовальщик! Вот тебе и способный!» Один раз я сломал себе руку, так Пётр Петрович сказал: «Как же так, у тебя золотые руки, а ты их ломаешь!» Я тогда очень гордился этим, что вот, мол, золотая рука, а я, несмотря на это, взял и сломал её!

Я спешу, а выходит хуже. Теперь и второй бок кривой.

Смотрю Алькин рисунок. Тоже неважно получается. Кривой горшок получается.

Проклятый горшок! Трудно всё-таки стать великим, если этот горшок даже нарисовать не можем...

Звенит звонок.

— Одну минуточку! — Пётр Петрович поднял кверху руку. — Совсем забыл. «Пионерская правда», ребята, объявила конкурс на лучший рисунок, и если кто из вас постарается...

Алька говорит:

— Вот здорово-то! Наверное, я заберу премию. Я с самого детства рисую!

Вокруг загалдели:

— А какая будет премия?

— А сколько времени нужно рисовать?

— А чем рисовать?

— А на чём рисовать?

— А что рисовать?

Пётр Петрович опустил руку.

— Рисовать можно всё, — сказал он. — Срисовывать нельзя.

— А я срисую, и никто не узнает, — сказал Кафаров.
— Ты-то сам будешь знать? — спросил Пётр Петрович.
— Буду.
— А ты говоришь, НИКТО не будет знать!
Все засмеялись.
— Микеланджело! — сказал Пётр Петрович. — Франсиско Гойя! Запомните их имена! — Он положил в портфель горшок и тряпку.
— До свидания! — сказал он.

Кафаров

— Давай, Кафар!!!
— Бей, Кафар!!!
— Сюда, Кафар!!!
— Туда, Кафар!!!
— Так, Кафар!!!
— Есть, Кафар!!!
— Го-о-о-ол!!!
— Ка-фа-а-ар!!!
Я весь в пыли. В разорванной рубаше. Я вратарь. Кафаров уже совсем близко. Он мчится с мячом на меня.
Удар!
Я лечу в пыль. Поздно. Гол!
Если в вашей команде Кафаров, вы никогда не проиграете. Если он против вас, вы обязательно проиграете.
Никто во всей школе, на всей нашей улице не играет лучше Кафарова.
Игра продолжается.
— Лови! — смеётся Кафаров.
Я прыгаю мимо мяча.
— Чучело! — орут мне.
А я-то при чём? Посмотрите, как наши играют! Всё время мяч у Кафарова. Опять мчится на меня.

— Хватай! — кричит он.

Гол!!!

— Эй, ворона! — кричат мне.

Игра продолжается.

Гол! Ещё гол! Ещё!

Вся наша команда бежит за Кафаровым. Всё время мяч у него. Кафаров опять прорвался. За ним мчится наша команда. Ну и команда!

Я выхожу из ворот.

Мяч влетает в пустые ворота.

— Привет! — ору я. — С меня хватит!

— Что такое? — кричит капитан. — Встань на место!

— Сам встань и стой! — кричу я.

— Не имеешь права! — орёт кто-то.

— Тебе доверили! — орёт наш капитан.

— Вам тоже доверили! — кричу я. — Играть не умеете!

— Не твоё дело! — кричат мне.

— Вот ещё! А чьё же тогда это дело? Мне голы забивают — и не моё дело?

— Брать надо! — кричат мне.

— Играть надо! — кричу я.

Свистят и кричат.

Скандал на поле.

— Двенадцать-ноль! — орёт кто-то. — Двенадцать-ноль!!!

— Это тебе не рисуночки рисовать, — говорит мне Кафаров.

— Подумаешь! — говорю я.

— Рисуночки разные там, шалей-валяй, дурачка валять, а здесь дело серьёзное!

— Думай, что говоришь! — кричу я.

— Здесь работа! — орёт Кафаров. — Бить надо! Брать надо! А твоя работа — это не работа! — Он суёт мне в нос мяч. — На, забей! Ну? Я встану! А ты забей!

— Давай! — я хватаю мяч.

Кафаров идёт в ворота.

Я считаю шаги. Кладу мяч.
Кафаров приготовился.
Удар!
Мяч летит в кусты.
Больше всех смеётся Кафаров.

Возле учительской

Я бежал по коридору во весь дух. И зачем я бежал, сам не знаю. У меня иногда бывает такое желание — взять и побежать. Побегу, думаю, до той двери, пока та девчонка до неё не дойдёт.

Бегу я, значит, и со всего размаху налетаю на завуча. Я чуть его с ног не сбил.

Он зашатался и говорит:

— А если бы это был малыш? Первоклассник? Ты бы, наверное, его убил на месте? Ты что, конь, что ли? Иди сию минуту и жди меня возле учительской!

Я пошёл, встал возле учительской.

И тут я слышу голос Петра Петровича. Он кому-то в учительской рассказывает:

— Мечты у меня были в то время самые радужные... Великие идеи так и кружились в моей голове...

Трамвай по улице проехал, и я не слышал, что он дальше говорил. Потом слышу:

— ...окончил я Художественное училище... в Академию художеств собрался...

Я подошёл поближе.

— ...задержался... стал портреты писать сухой кистью... В то время они громадный спрос имели. Любому учреждению тогда требовались...

Радио в коридоре включили на полную мощность:

*...Всем председателям совета отрядов
собраться в пионерской комнате к пяти
часам...*

Радио умолкло. Пётр Петрович рассказывал:

— ...знаете, сухой кистью делать очень легко. Разбивается полотно на клеточки одинаковой величины... фотография данного портрета соответственно разбивается на клеточки... рисуется по этим клеточкам контур портрета... с фотографии... Дело идёт очень быстро... легко... результат получается налицо... По этим контурам сухой кистью... так сказать, растираешь... ерундовая работа... никакого таланта не нужно... только немножечко умения... ни уму ни сердцу, как говорится.

Тут опять трамвай проехал.

— ...я всё думал: ведь Брюллов, Суриков, Репин учились в этой академии... мечтал... робел... зарабатывал... портреты сухой кистью всё время писал...

В это время подходит ко мне Кафаров.

— Ты чего, — говорит, — тут стоишь?

— А тебе что? — говорю.

Тогда он к моему уху нагнулся и говорит:

— Ты замечал, какая Тася Лебедева красивая?

Я на него уставился и заморгал. Никогда я об этом не думал.

— Эх ты, — говорит Кафаров. И ушёл.

Пётр Петрович рассказывает:

— ...в дороге у меня чемодан стащили...

В это время звонок зазвенел.

Слышу дальше:

— ...настроение... положение... состояние... Ленинград... Я... Академия художеств... провалился... волновался... женился...

Всё время этот трамвай скрежетал. Скрежещет на повороте. Даже стёкла тряслись. Пётр Петрович стал совсем тихо говорить.

— ...так же, как и я... Суриков... в своё время... сын родился... второй раз провалился... учился... в конце концов недоучился... Война... дожди, болота... ранен... Волга... Днепр... ничего не поделаешь... Варшава... Кёнигсберг... Берлин... шесть, семь, восемь... Баку...

...Вы знаете, что мне врач недавно сказал? «Вы, — говорит, — никогда не умрёте». Я, разумеется, посмотрел на него и говорю: «Знаете что, не надо мне сказочек рассказывать, они на меня мало действуют». Тогда он говорит: «Вы меня не поняли». — «Я вас, — говорю, — отлично понял, только это лишнее». — «Нет, — говорит, — вы меня не поняли. Если бы у вас даже один сын был, вы бы уже ни черта не умерли, а раз их у вас целых пятеро, то тут, знаете ли, о смерти говорить прямо-таки смешно...» Вот так он мне и сказал...

Пётр Петрович засмеялся.

— Вы и есть великий человек, Пётр Петрович, — сказал кто-то.

Трамвай заскрежетал.

Подходит ко мне завуч.

— Иди, — говорит, — в класс. И больше так не бегай.

Тася Лебедева

После того как Кафаров мне про Тасю Лебедеву сказал, я о ней думать стал. Да ещё Мария Николаевна про неё сказала: «Вы замечали, почему Лебедева сидит в классе во время перемен? Потому что она серьёзная девочка и беготня по коридорам ей претит».

Слово «претит» очень понравилось мне. «Тася», «претит», «торт», «петит» (что такое петит, я не знал) были самые прекрасные, волшебные слова. В том, что Тася самая необыкновенная, я уже не сомневался.

Я стал смотреть на неё. Смотреть всё время. Бесперывно. Когда любят, решил я, наверное, всё время смотрят. На уроках я не мог на неё всё время смотреть, она сидела сзади меня, и я принёс в класс зеркальце и смотрел на неё в это зеркальце. Потом у меня это зеркальце отобрали.

Больше всего восхищало меня, конечно, то, что все выходят в коридор, всем это не претит, а она одна, можно

сказать, во всём классе, а может быть, и во всей школе, которой ПРЕТИТ.

— Ей всё, всё, всё претит... — тихо пел я перед сном. Мотив был из старинного романса. Я услышал его от мамы.

— Ей всё, всё, всё претит... — тихо пел я на перемене.

— Чего ты бормочешь? — спросил Кафаров.

— Не твоё дело, — сказал я.

— Отстаньте от меня, — говорил я всем, хотя никто ко мне не приставал. Любовь, думал я, это такое дело, что никто не должен к тебе приставать.

Я решил подарить ей рисунок. Я подарю ей свой самый лучший рисунок, который висит у меня над кроватью. И пусть она повесит его над своей кроватью.

Была перемена.

В классе были я и Тася.

Она читала.

— Тася, — сказал я тихо.

Положил ей рисунок на парту. И вышел.

Всю перемену я думал о том, поняла ли она, что этот рисунок я ей дарю на всю жизнь, навеки. Лучше этого рисунка у меня никогда не было. Нужно было сказать ей об этом. А вдруг она не поняла, зачем я положил ей на парту рисунок? Подумает, я просто так — взял да и положил. Подумает, что этот рисунок мне совсем не нужен. Подумает, у меня таких рисунков, может быть, целая куча...

Звонок прозвенел.

Вхожу в класс.

Рисунка на парте не было!

— Ей всё, всё, всё претит... — пел я по дороге домой.

Тася шла сзади.

Я замедлил шаги.

Когда Тася была почти рядом, я в каком-то непонятном восторге, сам не понимая, как это вышло, повернулся и... дал ей подножку.

Я просто хотел, чтобы она думала, что я всегда на неё внимание обращаю... Чтобы она думала, что я её замечая. Не знал я, что так всё получится!

Она поднялась и плачет.

— Дурак! — говорит. — Дурак!

Я стоял и моргал.

В это время Ыгышка подошёл. Если бы вы этого Ыгышку знали, вы бы никогда не захотели, чтобы он к вам подходил. Третий год в одном классе сидел. Потом его исключили. Здоровенный он был. Ещё бы! Так вот он подходит ко мне и говорит:

— Чего ты стоишь, дубина! Успокой невесту!

— Какая она мне, — говорю, — невеста? Ты думаешь, что говоришь? И какое ты имеешь право меня дубиной обзывать?

А он засмеялся вот так:

— Ыгыгыгы...

И говорит:

— Кавалер! Невеста плачет, а он рот разинул! Успокой невесту, кавалер!

И не уходит, главное. Стоит и смеётся.

— Кто тебе сказал, что я кавалер?

Так я расстроился! Вот пристал!

А он говорит:

— А кто же ты? Дубина?

Хотел я на него с кулаками броситься, до того он меня разозлил. А потом раздумал. Кулаки у него здоровенные. Если он своим кулаком меня стукнет, я просто не знаю, что мне делать тогда!

— Отстань, — говорю.

Он засмеялся и пошёл. Идёт и смеётся. И откуда он тут взялся!

А Тася вынимает из кармана мой рисунок. Даёт мне и уходит.

Я её догоняю.

Она повернулась и в другую сторону пошла.

А я за ней.

И всё ей объясняю, что это у меня нечаянно получилось.

Вдруг вижу — этот Ыгышка навстречу нам идёт.

Подходит он к нам и говорит:

— Спички есть?

Я зубы стиснул и смотрю на него. Неужели он не понимает, что у меня спичек быть не может. Нарочно ведь пристал!

Смотрю на него и не моргаю.

А он прищурился и говорит:

— Ишь ты, рожу надул! Нету спичек — скажи нету. И не паясничай. Ыгы? — Это его любимое выражение. — А то и по шее получить недолго.

Повернулся и пошёл.

А Тася в другую сторону пошла.

А я со своим рисунком остался.

Потом как стал его рвать! На мелкие кусочки изорвал и вслед Тасе бросил.

Кубик и квадрат

Увидев нас, Пётр Петрович закричал:

— Кто к нам пришёл!

— Мы просто так пришли, — сказал Алька.

— Ну и замечательно! — сказал он. — Вот и замечательно!

Я слышал шум из комнаты. Там как будто что-то двигали, катали по полу шарик, словно скоблили чем-то по стеклу, и пели.

Мы вошли в комнату.

Один из младших сыновей Петра Петровича сидел на полу. В руках он держал молоток. Он вбивал в пол гвозди. Несколько гвоздей лежало рядом с ним.

— Смотрите! — крикнул я. — Смотрите, что он делает!

— Безобразие! — сказал Пётр Петрович. — Какое

безобразие! Не успел я пойти открыть вам дверь... — Он выхватил молоток у сына. — Где ты взял его?

Сын проворно встал с пола. Успел зажать гвозди в кулак.

Пётр Петрович положил молоток на стол.

— Мать ушла, — сказал он, — а они разошлись...

На столе молотка уже не было. Теперь стук раздавался из кухни.

— Одну минуточку, — сказал Пётр Петрович. Он быстро пошёл в кухню.

Из-под дивана выкатились двое других сыновей Петра Петровича.

Из другой комнаты вышел четвёртый сын. Он был постарше этих. Но младше меня. Он молча смотрел на нас. Он хотел что-то спросить. Я это чувствовал. Но он ничего не спрашивал. И я смотрел на него и тоже ничего не спрашивал.

Вдруг он сказал:

— Я рассказ написал.

Мы с Алькой переглянулись.

— Рассказ? — спросил я.

— Ага, — сказал он.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего, — сказал он.

Он опять стал молча смотреть на меня.

— Хочешь прочесть? — вдруг спросил он.

— Давай, — сказал я.

Он протянул мне листок.

— Вслух читай, — сказал он.

Я стал читать вслух. Этот рассказ был написан большими буквами:

РАССКАЗ В ПРОЗЕ А. П. ВОЛОШИНА

НАЗВАНИЕ «ОБИДНО»

МЫ ШЛИ ПО МОКРОМУ ПЕСКУ И ПЕЛИ:

«МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЕМ,
ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВОТ УЖЕ МОРЕ ВИДНО, СИНЕЕ, БОЛЬШОЕ,
С КОРАБЛИКОМ.

И МЫ ЕЩЕ ГРОМЧЕ ЗАПЕЛИ:

«МЫ НА МОРЕ ВСЕ ИДЕМ,
ТА-РА-ТА-РА-ТА-РА-РА!»

ВДРУГ РАЗДАЛСЯ ГРОМ, И ВНЕЗАПНО ПОЛИЛ
С ШУМОМ ДОЖДЬ.

— СТОП! — КРИКНУЛ ВОЖАТЫЙ. — НА МОРЕ
МЫ НЕ ПОЙДЕМ!

НАМ БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО.

Я кончил читать.

— Я ещё напишу, — сказал сын Петра Петровича. Он свернул листок вчетверо. Сунул за пазуху. Вздохнул и сказал: — Если ты хочешь знать, я громадную книгу могу написать. Только мне мешают. Слишком много шума. Скоро мы на новую квартиру переезжаем. Вот там я напишу.

В комнату вошёл Пётр Петрович. Он вёл младшего за ухо. В другой руке Пётр Петрович держал молоток. Малыш всхлипывал.

— Вы меня простите, ради бога, — говорил нам Пётр Петрович, кладя на стол молоток.

— Вот этот стул я сломал, — объявил малыш.

— Зачем? — спросил я.

— Не знаю... — сказал он задумчиво.

— Отойди отсюда, — сказал ему Пётр Петрович.

Он отошёл к столу. Взял молоток. И пошёл на кухню.

— Ангелины Петровны нет, — сказал Пётр Петрович, — поэтому такой беспорядок...

— Ничего, — сказал я.

— Ваш сын прочёл нам рассказ, — сказал Алька.

— Он был в пионерском лагере, — сказал Пётр Петрович. — Приехал оттуда с большими впечатлениями, всё время вспоминает лагерную жизнь и пишет рассказы на

эту тему, я ему в этом не перечу, пусть занимается чем хочет. Он не читал вам рассказ про самолёты?..

— Про самолёты не читал, — сказал я.

Из кухни раздавался стук.

— Чёрт возьми! — сказал Пётр Петрович. Он быстро ушёл туда.

Только сейчас я заметил самого старшего. Он сидел за маленьким столиком.

Я подошёл к нему.

Старший сын Петра Петровича рисовал какой-то странный предмет. Он даже не обернулся. Только закрыл рукой лист.

— Не мешайте, пожалуйста, — сказал он.

Вошла Ангелина Петровна. Я сразу понял это. Мы с Алькой с ней поздоровались. Она поздоровалась с нами.

Появился Пётр Петрович. В руках он держал молоток.

— Вы не стесняйтесь, — сказал он нам, — вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот выпьем чайку, а потом я кое-что покажу вам, как истинным ценителям искусства. Садитесь за стол, не обращайтесь внимания на весь этот шум...

Пётр Петрович положил на стол молоток.

Я всё смотрел по сторонам. На стенах было много репродукций. Тут были люди в шлемах, и таинственные туманные пейзажи, и какие-то красавицы, и были кони, и лодка, мчавшаяся по волнам с людьми. А под самым потолком висела незаконченная; наверное, та самая картина, о которой нам говорил Пётр Петрович.

Все сели за стол.

Только старший сын сидел за своим маленьким столиком. Он всё рисовал.

— Вот этот, — вдруг сказал Пётр Петрович, показывая на старшего сына, — учится в художественном училище. Рисует специально, умышленно какую-то безграмотную чепуху и уверяет, что это и есть самое прекрасное на свете искусство. Уверяет, что это какое-то движение вперёд, что-то неизмеримо космическое, что-то недостижимое, какой-то, в общем, модерн... я вам сейчас покажу!

Пётр Петрович встал, ушёл в другую комнату.

Младший сын Петра Петровича дёргал меня за штанину.

— Нигая́, нигая́, нигая́... — повторял он.

— Что он говорит? — спросил я.

— Он пьёт чай, — сказала Ангелина Петровна, улыбаясь, — и рад сообщить всем, что чай не горячий.

— Ялад, ялад, ялад, — сказал младший.

— Он сообщает всем, что он рад по этому поводу, — сообщила Ангелина Петровна.

— Ну так вот, — сказал Пётр Петрович, неся в руках маленький холстик. Он поставил его на стул. — Вот до чего можно докатиться! Разумеется, его этому не учат.

— Что это такое? — спросил я.

— Это мой портрет! — сказал Пётр Петрович. — Творение рук вот этого молодого человека! — Пётр Петрович показал на старшего. — И он уверяет меня, что это я! Вот этот кубик и этот красный квадрат — это я! До чего можно дойти, до чего доработаться, что своего родного отца представлять в таком виде! А я ведь ему позировал. Сидел. Он ведь меня с натуры рисовал. «Не двигайся, — говорит, — папа, а то не получится!» Смотрел на меня, рисовал — и нарисовал вот этот кубик и квадрат! Ведь это полное пренебрежение к человеку, не говоря уже об отце! Он, выходит, на меня не смотрел, когда рисовал. Его голова была забита какими-то ничтожными мыслями — всех на свете удивить, показать всем и всякому, какой он оригинал!

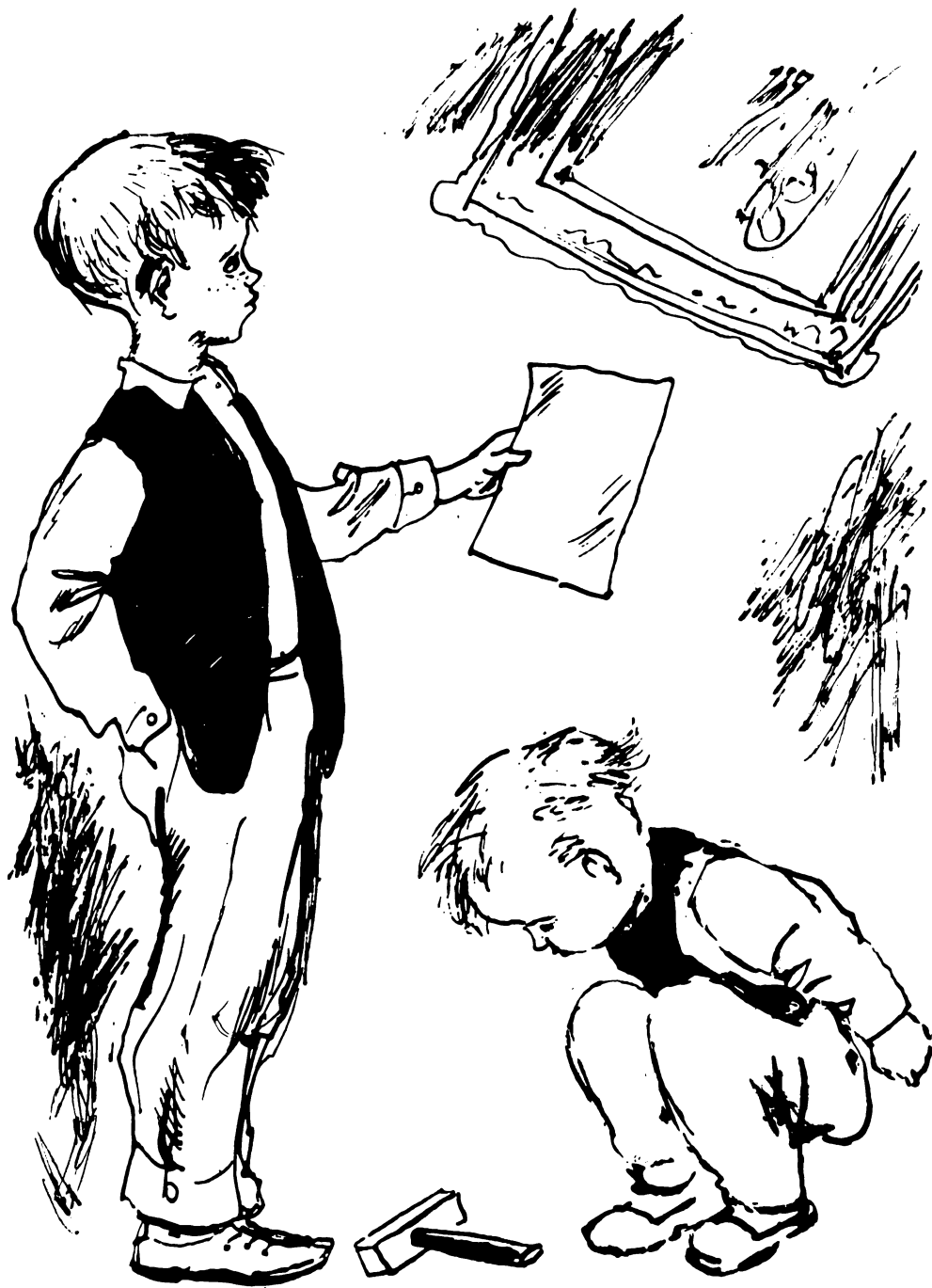
Старший сын Петра Петровича всё так же не поворачивался. Он сидел всё так же спиной.

— Успокойся, пожалуйста, — сказала Ангелина Петровна.

Пётр Петрович махнул рукой.

— Атэчик! Атэчик! Атэчик! — кричал младший сын Петра Петровича.

— Это он так отца зовёт, — сказала Ангелина Петровна.



Внимательно смотрел на молоток другой сын Петра Петровича.

Я смотрел на портрет. Я не мог понять, почему старший сын Петра Петровича так нарисовал своего отца. Я хотел, чтобы он повернулся, чтобы можно было посмотреть на него.

Он вдруг повернулся.

Он был похож на Петра Петровича. Как будто это Пётр Петрович совсем молодой. Только волосы у него были длинные. Он сказал:

— Вот это поколение поймёт меня! — Он показал на нас.

— Это бред! — сказал Пётр Петрович.

— Это гениально! — сказал сын Петра Петровича.

— Это глупость, — сказал Пётр Петрович. — С каким уважением малые голландцы оттачивали селёдочные головы, и с каким пренебрежением ты относишься к своему отцу...

— Это логически построенное композиционное решение, — сказал сын Петра Петровича. — Я должен иметь своё «я»!

— Кошмар! — сказал Пётр Петрович. Он схватился за голову. — Иметь, но не совать всем в нос!

— Бузылюки! — сказал младший сын Петра Петровича.

— А Пикассо? — спросил старший сын Петра Петровича.

— Аколоко! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Принеси ему из кухни молоко, — сказала Ангелина Петровна одному из сыновей.

— Вечный спор, — сказал Пётр Петрович. Он не хотел разговаривать.

— Кто такой Пикассо? — спросил я.

— Один художник, — сказал Алька. — Мне о нём рассказывал один художник.

— Но я могу экспериментировать? — спросил сын Петра Петровича.

— Можешь, — сказал Пётр Петрович. — Можешь. Только я тебе позировать не буду. И они тоже, — он показал на нас, — они тоже тебе позировать не будут.

— Не будем! — заорали мы с Алькой.

Старший сын Петра Петровича зло на нас посмотрел.

— Вы ещё запоёте! — сказал он.

— Ты сам запоёшь, — сказали мы. (Здорово смело мы ему сказали!)

Он показал нам кулак. Мы сделали вид, что не видим.

— Хочу мильдиди! — сказал младший сын Петра Петровича.

— Это он купаться хочет, — сказала Ангелина Петровна.

— Ди-ко-ко! — сказал младший сын.

— Это слово мне не знакомо, — сказала Ангелина Петровна.

Пронеслись по комнате два других сына Петра Петровича.

Исчез со стола молоток.

Я смотрел на картину Петра Петровича, подвешенную к потолку. Она висела как-то боком, криво, и я, наклонив голову, рассматривал на ней людей, переплывающих реку, и танки.

— Пойдёмте-ка со мной, — сказал Пётр Петрович, вставая, — я хочу вам кое-что показать.

Мы прошли с ним в другую комнату.

Из кухни раздавался стук. Один из сыновей Петра Петровича продолжал вбивать куда-то гвозди...

Великие мастера

— Я вам сейчас покажу великих мастеров, — сказал Пётр Петрович.

Он взял с полки альбом.

— Попал я с фронта в Ленинград. Нева во льду. Метель

метёт. Блокада. Иду я по Неве к Академии художеств. Захожу в вестибюль. Печурка. Сидят люди, греются. Худые, бледные лица. Сидят греются и молчат. Я говорю: «Хочется мне повидать своего учителя Осьмеркина. Я у него до войны учился. Как бы мне повидать его?» Мне говорят: «Повидать его можно, только он недавно в Эрмитаж ушёл». — «Бросьте, — говорю, — тут шутки шутить, какой тут может быть Эрмитаж! Кругом один голод и холод». Мне спокойно говорят: «Он очень любит великих мастеров смотреть. Вы его ещё догоните. Он медленно ходит». Догоняю его. Еле-еле с палочкой идёт он по широкой набережной. Снег вокруг метёт что есть силы. И шарф его, помню, по ветру трепещет... Вгляделся он в меня и говорит: «Петечка, ты? Очень рад, что я тебя встретил. Мы сейчас с тобой великих мастеров пойдём смотреть...»

Пётр Петрович ходил из угла в угол.

Мы рассматривали альбом с великими мастерами.

Пётр Петрович говорил:

— Рембрандт! Запомните это имя! Эти руки старухи... целая жизнь человека в этих руках!.. такие руки мог написать только Рембрандт!.. Его автопортрет... Старик Рембрандт улыбается... прищурившись, смотрит на нас... Рембрандт стар. Но он помнит те времена: толпится знать Амстердама в его мастерской, гогочут и возмущаются: не нравится им, как Рембрандт их изобразил! «Посмотрите на свои свиные рожи, — говорит им Рембрандт, — и вы увидите, что я прав!» Рембрандт видел их такими, какие они на самом деле. Скандал! Тычут в картину палками... Он не стал свою картину исправлять, не стал... Вот почему старик Рембрандт улыбается. «Хе-хе! — говорит он. — Не удалось вам меня провести...»

...Делакруа! Чистый цвет! Романтика!.. «Охота на льва»! «Дерущиеся лошади»! «Марокканская фантазия»! — несутся всадники на фоне гор... лодка в бушующем море... У этого человека было солнце в голове и буря в сердце! Запомните это имя!

Рафаэль!.. Гениально!.. Линии поют... благородство, человечность, красота... Великие мастера! Великое искусство! Запомните их имена!.. Я понимаю, всё это слова... Тут просто словами не объяснишь... Кстати, сравните «Мадонну Сикстинскую» вот с этой, другого художника... и всё не то! Не то всё! Не то! В том-то и дело... Хотя и тут всё правильно... всё нарисовано... Такие сравнения полезны... они вносят ясность. Ведь всё относительно, а Рафаэль — вершина! К вершине и нужно стремиться!

...Запомните это имя! Тинторетто! Удивительно! Потрясающе!.. Когда Суриков был в Венеции, он там увидел холсты Тинторетто. «Я слышу свист мантий!» — воскликнул Суриков. Высочайшее мастерство... Всё в холсте словно движется... Всё как будто просто... Кажется, вот возьмёшь кисть — и сам напишешь точно так же... до того всё кажется просто! Не видишь труда... не думаешь о том, как это трудно... Написано сердцем, вот в чём дело! И начинаешь верить, глядя на Тинторетто, что когда-нибудь сам возьмёшь и напишешь вот так, как захочешь... Гений не подавляет. Не бьёт по башке, как это думают некоторые... Он вливает в тебя бодрость духа... Это удивительно!

...Рублёв! Запомните это имя!!!

Пётр Петрович говорил откуда-то из угла комнаты. Будто он говорил сам себе. Некоторые слова он выкрикивал, а некоторые говорил тихо. Картины были замечательные, это верно. Но я не видел, чтобы пели линии. Не видел, чтобы в холсте у Тинторетто что-нибудь двигалось. Не мог я понять, почему один Рембрандт мог написать такие руки! Алька тоже не видел этого. Хотя он повторял: «Да, да!» — словно он понимал всё. А между тем, думал я, наверное, всё это есть там, в этих картинах. И линии там, наверное, поют, и люди у Тинторетто движутся, и мантии свистят у Тинторетто... Всё это, наверное, есть там, раз Пётр Петрович видит это. А я не вижу...

— ...При жизни он не был известным... вот что

любопытно... Очень любопытно... древнерусские даже фамилий своих не подписали на своих работах... Какое имеет значение в конце концов, кем эта работа сделана?.. Важно, что она сделана!..

.

— ...Александр Иванов! Запомните это имя!..

.

— Не этот кубик и квадрат!..

Пётр Петрович похлопал меня по плечу:

— Нужно соображать!

Он опять похлопал меня по плечу.

— Понятно? — спросил он.

— Понятно, — сказал я.

Я сказал это так тихо, что он, наверное, не слышал.

Когда мы с Алькой уходили, я вдруг вспомнил, что хотел спросить, что это за малые голландцы, которые оттачивали селёдочные головы...

Хотел спросить и не спросил.

Сон

Таинственно освещённый Рембрандт вышел из коричневого тумана. Перо на шляпе светилось в тени.

Я сел на кровати и спросил:

— Скажите, пожалуйста, вы рисовали на асфальте?

Улыбнулся Рафаэль в пространстве...

Рембрандт улыбнулся Рафаэлю...

Вихрем на коне пронёсся Эжен Делакруа...

Что-то зазвенело и затрещало. Из-за этого звона и треска никто не услышал меня. Старший сын Петра Петровича шёл напролом через что-то твёрдое, которое гнулось и трещало. И это твёрдое было пространство. В одной руке старший сын Петра Петровича держал кубик, а в другой —



красный квадрат. Он старался протиснуть квадрат в какое-то отверстие в пространстве...

Я спросил в третий раз то же самое.

Старший сын Петра Петровича втискивал свой квадрат, и треск стоял ужасный.

И опять меня не было слышно.

Издалека донёсся голос Петра Петровича:

— Запомните их имена!..

Засвистел ветер со страшной силой. Улетел старший сын Петра Петровича куда-то вдаль. В вихре кружились квадрат и кубик.

— Подписывать фамилии вовсе не обязательно! — сказал громкий голос Рублёва.

Рембрандт протолкнул квадрат шпагой.

Тинторетто, закутанный в плащ, сел на кубик.

— Мильдиди! — смеялся младший сын Петра Петровича. Он смеялся тоненько, как колокольчик.

Проплыл в воздухе молоток.

— Я должен иметь своё «я»! — орал откуда-то сверху старший сын Петра Петровича.

— Скажите, кто из вас рисовал на асфальте? — спросил я.

И опять меня не было слышно. Старший сын Петра Петровича так орал про то, что он должен иметь своё «я». Только его было слышно.

Ворвался яркий свет. Как будто мама утром отдёргнула штору.

Все стали уходить. Рафаэль — обнявшись с Рембрандтом. Делакура — обнявшись с Тинторетто...

Откуда-то сверху грохнулся на квадрат старший сын Петра Петровича. Квадрат развалился вдребезги.

Смеялся младший сын Петра Петровича как колокольчик.

Больше не было треска. Была тишина. Только звенел колокольчик. Всё тише и тише...

Кобальт фиолетовый

Старший сын Петра Петровича стоял в коридоре. А я как раз вышел из класса. Он позвал меня:

— Послушай, а ты не знаешь, где мой отец?

Я ему не хотел сначала отвечать, а потом говорю:

— Не знаю.

— В каком он классе сейчас, ты не знаешь?

— Не знаю, — говорю.

— Послушай, — говорит, — у тебя, кажется, целый склад рам. Это правда?

— А что?

— Значит, правда, — говорит. — Давай меняться. На масляные краски. Я тебе красок дам. А ты мне раму. Очень мне, дозарезу, вот так, рама нужна. Нужно мне портрет отца в раму вставить. В раме он совсем по-другому смотреться будет. Рама — это всё равно что платье для человека... Да ну, ты всё равно ничего не понимаешь, чего с тобой разговаривать...

Я хотел уйти, а он меня остановил.

— Да ладно, — говорит, — подожди ты. Будешь меняться или нет? Напишешь масляную картину. Что, плохо, что ли? Очень даже хорошо. Я, понимаешь, хочу у отца деньги попросить. Для этого-то, собственно говоря, я и пришёл сюда. Раму, понимаешь, нужно мне купить. Да он может не дать мне денег. Да, может, у него и нету. Ты не знаешь, где мой отец?

Насчёт красок я здорово задумался. Настоящая масляная картина... Великие мастера...

— А сколько ты мне красок дашь? — спрашиваю.

— Пойдём, — говорит, — посмотрим твои рамы.

— У меня, — говорю, — урок должен быть.

— Да плюнь ты, — говорит, — на урок, раз такое дело.

— Я так не могу, как же я так могу...

— Чего-нибудь скажешь; зуб, скажешь, болел или там печёнка, селезёнка, подумаешь!

— Как же я так, я так не могу...

— Никудышный ты человек, — говорит. — Масляные краски. Большие такие тюбики. Разные цвета. Синие, оранжевые, зелёные...

— А кисточки у тебя есть? — говорю.

— Найдётся, — говорит. — Какая-нибудь облезлая кисточка найдётся.

Ему, видно, очень рама была нужна. Он меня всё-таки уговорил. Я ещё никогда в жизни с уроков не уходил. А тут взял и ушёл.

Мы с ним прямо к нам пошли.

Отца с матерью не было. Он по всей квартире ходил и орал:

— Шикарно живёшь, кочерыжка! Шикарно!

— Почему шикарно? — спросил я.

— Площадь, — орал он, — площадь! Шикарная площадь! И нет стариков!

Он стал рассматривать мои рамы.

Выбрал одну. Измерять стал. Подойдёт ли она к его портрету.

— Так тебе сколько красок? — спросил он.

— Все цвета, — сказал я.

Он присвистнул.

— Много, — сказал он.

— Мне нужны все, — сказал я. — Или мне ничего не нужно.

— И кобальт фиолетовый? — спросил он.

— И кобальт фиолетовый.

— Не могу, — сказал он. — Все краски, кроме кобальта фиолетового.

Если бы он не сказал мне про этот кобальт, я бы не стал его требовать. Я и не слышал даже, что такая краска на свете есть. Но раз ему так жалко этот кобальт, — значит, это самая красивая, самая замечательная краска...

Он вздохнул.

— Ну ладно, — сказал он. — Половину кобальта фиолетового.

Он опять вздохнул.

— И зачем тебе этот кобальт фиолетовый сдался, не пойму!

— А тебе он зачем сдался?

— Мне он вот так, понимаешь, по горло, нужен...

— И мне нужен, — сказал я.

— Ни черта он тебе не нужен, — сказал он.

Вот, думаю, хитрый человек! Ему, видите ли, нужен этот кобальт, а мне не нужен? Интересно, почему это он ему так понадобился? Неужели без такой краски обойтись нельзя? Наверное, нельзя, раз он так за эту краску цепляется.

— Вполне ты мог бы обойтись без этого кобальта фиолетового, — сказал он.

— Нет, — сказал я, — Не мог бы.

Он всё рассматривал раму.

— Нету ли у тебя какой-нибудь маленькой палитры? — спросил я. — Может быть, у тебя есть какая-нибудь маленькая палитра?

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Где же мне взять палитру?

— Фанерку. Возьми фанерку. И всё.

— А чем я буду краски разводить?

— Какое мне дело, чем ты будешь краски разводить?

— Как же мне их разводить?

— Керосином, — сказал он. — Из керосинки.

— И всё? — спросил я.

— И всё.

— А кисти?

— Что кисти?

— Где мне взять кисти?

— Какое мне дело! Какое мне до этого дело! — заорал он.

— Но где же мне взять их?

Он почему-то стал говорить мне на ухо:

— Клок волос. Своих собственных. Подровнять. Подстричь. Перевязать. Ниточкой. На палочку. И всё! Понял? Секрет. Ясно? Что я буду иметь за это изобретение?

— Выходит, я тогда сколько угодно кистей могу сделать?

— Сколько угодно, — сказал он. — Собственный завод.

— И это всё?

— Всё.

— А холст?

— Что холст?

— Где мне взять холст?

Он захихикал:

— Какое мне дело! Боже мой, какое мне дело!

— Но где же мне взять его? — Я на него просто умоляюще посмотрел. Не знал я, где эти холсты берут. Он-то знал ведь. Он мог ведь сказать.

— Картонку, — сказал он. — Возьми картонку. Помажь её клеем. Столярным. И всё.

Мы взяли раму и пошли к ним. Я подождал внизу, а он мне вынес краски. Может, там были не все цвета, но кобальт фиолетовый там был. Это я сразу проверил. Я отвинтил крышечку тюбика и выдавил этого кобальта себе на палец. Вот это краска! Сиреневая-сиреневая! Жуть какая красивая. Теперь-то я понимаю, почему он мне эту краску давать не хотел.

«Летучий голландец»

Когда я стригся в парикмахерской, меня спросили:

— Это ты в том окне живёшь?

Я удивился и сказал:

— Я.

— Что ты там всё время крутишься и руками машешь?

— А разве видно? — спросил я.

— Ещё бы!

— Я картину пишу, — сказал я. — Два дня я пишу картину. Но у меня пока не очень получается.

Я здорово, наверное, вертелся вокруг своей картонки. Махал кистью так, что вся стена стала в брызгах. Тряпкой

крутил, как пропеллером. Разбегался и — бац! бац! — на холст краску! Прямо с разбегу мазки клал. Должна же быть у меня буря в сердце, как у того Делакруа! Он тоже, наверное, не стоял как дохлый возле своей картины. Он, наверное, так же, как и я, на месте не мог устоять.

— Как юла, — сказал парикмахер, — крутишься ты как юла.

— Сейчас кручусь? — спросил я.

— Да нет. В окне крутишься. Целый день крутишься. Чего это, думаю, там крутится? Что бы, думаю, это могло быть?..

— Картину пишу, — сказал я.

— Теперь-то я понял.

— «Летучего голландца», — сказал я.

— Ну, ну.

— Трудная работа.

— Ну, ну.

Он стриг меня и улыбался. Может быть, он не верил, что я картину пишу.

— Ну, всё, — сказал он. — Иди. Пиши свою картину.

Тут я его спросил:

— Волосы вам нужно?

— Какие волосы? — удивился он.

— Мои, — говорю.

— Ничего не понимаю, — говорит.

— Вот эти, мои собственные, с моей головы... — и на пол пальцем показываю.

Он пожал плечами:

— Совершенно не нужно. Бери сколько твоей душе угодно, любые волосы с любой головы.

Я помчался домой. Это мама меня от картины оторвала. «Иди, — говорит, — стригись». Как будто я в другой раз подстричься не мог.

Когда творческого работника от работы отвлекают — это самое страшное дело. Нам Пётр Петрович рассказывал, как одного ужасно талантливого художника от работы отвлекали. Друзья его всё время отвлекали от работы, и всё!

И он с ними отвлекался. Так потом он погиб. То есть сам он не погиб. Талант его погиб. Погубили друзья человека. Они его, представьте, водкой всё время угощали. Вот ведь какие друзья были, а? Не дай бог мне таких друзей иметь в своей жизни...

...Море синее и зелёное. Никогда я не думал, что столько красок пойдёт на это море. А посреди — корабль кобальтом фиолетовым. Весь кобальт фиолетовый всадил я в этот корабль! Это «Летучий голландец». Кто это мне рассказывал про «Летучего голландца»? Страшное там дело было... Куда-то исчезла команда. Один корабль остался. Вдуты его паруса на ветру. Кренятся мачты то вправо, то влево. Скрипят удивлённые снасти. Болтаются верёвочные лестницы. Мчится по волнам «Летучий голландец»...

Я глянул в окно. Парикмахер смотрел на меня. Он сидел на скамеечке возле парикмахерской и смотрел вверх. Я помахал ему. А он мне. К нему подошёл мальчишка. И он с ним ушёл в парикмахерскую.

Никак у меня волны не получались — вот что плохо. Я слышал, что, когда не получается, всю краску соскоблить нужно. Снять краску ножом. Я так третий раз уже сделал. Всю краску снимал. И снова начинал.

И тут я увидел, что красок-то у меня больше нет. Кончились у меня все краски.

В это время отец подошёл. Он всё время ко мне подходил.

— Я думаю, — сказал он, — у художника должен быть какой-то метод...

— Какой метод? — спросил я.

— В любом деле, — сказал он, — должен быть метод.

— Мне нужны краски, — сказал я. — Мне ещё нужны краски. Не купишь ли ты мне ещё красок?

— А ты их намажешь на эту картонку, — сказал он, — снимешь ножом и выкинешь?

— Так все делают, — сказал я. — Все художники так делают! Если у них не получается, они эту краску снимают...

— У них-то есть метод! Не может быть, чтобы у них этого метода не было...

— Но где же мне взять его?

— Раз у тебя нет метода...

— Если бы у меня были краски, — сказал я, — я бы непременно написал это море... и «Летучего голландца»... у меня бы это всё отлично получилось...

— У тебя нет метода, — сказал отец, — ничего бы у тебя не получилось.

Я глянул в окно. Этот парикмахер стриг того мальчишку. Не пойду я больше стричься в эту парикмахерскую. Пойду где-нибудь в другом месте подстригусь. Спросит он у меня про мою картину, что я ему отвечу?

А утром придёт ко мне Алька. Он сразу утром примчится. Он непременно примчится.

Он пишет автопортрет. Сидит сейчас перед зеркалом и пишет себя масляными красками. Он, наверное, думает, что он Рембрандт! Он, наверное, так же, как Рембрандт, улыбается в это зеркало. И тень у него, наверное, такая же на лице. И беретку, наверное, на голову надел, как у Рембрандта...

Олив Нивс

Отец ходил с этим письмом по всем соседям.

— Кто может читать по-английски? — говорил он. — Кто может перевести? Как жаль, что я не умею читать по-английски.

— А что такое? — спрашивали соседи. — Что случилось?

— Моему сыну письмо из Англии! Как вы на это смотрите? Ему прислали письмо из Англии! Лично ему! Что вы на это скажете?

Соседи ничего не могли сказать. Они удивлялись.

Я получил письмо из Лондона.

Я ходил за отцом и никак не мог понять, с какой это стати присылают мне письма из Лондона.

Тётя Регина привела какого-то старичка.

— Вы читаете по-английски? — спрашивал его отец. — Вы хорошо читаете по-английски?

— Да, я читаю по-английски, — сказал он, надев очки.

— А вы можете перевести? — спросил отец.

— Да, — сказал он, — я могу перевести, как это ни странно.

— В этом нет ничего странного, — сказал мой отец.

Все пошли в нашу квартиру.

Старичок взял письмо и стал читать. Он немного прочёл по-английски, а потом по-русски сказал:

— Значит, тут... вот... ага... так... ясно...

— Ничего не ясно! — сказал мой отец. Ему не терпелось скорее узнать, что там пишут мне из Лондона.

— Сейчас, — сказал старичок. — Ага...

— Ну, так что же там такое в конце концов! — закричал мой отец. — О чём это там? Что там написано?

— Дай ему прочесть, — сказала моя мама.

Старичок снял очки, посмотрел на моего отца и сказал:

— Совершенно верно. Дайте мне прочесть. — И снова надел очки.

— Да читайте вы... — сказал отец.

Старичок читал про себя. Потом он кончил читать и сказал:

— Это письмо пишет девушка... то есть девочка... она гёрл, то есть девочка, живёт, как я понимаю, в Лондоне. И, само собой разумеется, пишет вашему сыну письмо...

— Английская девушка? Моему сыну? Этого не может быть! — сказал отец.

На отца моего закричали, и он замолчал.

— Она пишет, что видела... одну минуточку... ага!.. Видела на вернисаже... ну да... на выставке, вероятно... совершенно правильно, на выставке какую-то картину... вероятно, вашего сына... Вот именно... Картину вашего сына!..

Я чуть с ума не сошёл, когда это услышал. Это, наверное, не мне было написано, что ли? Откуда там могла быть моя картина? Ерунда какая-то...

— Ну так вот, я читаю дальше... Она... тут ясно сказано... восхищена этой замечательной картиной. И так как она сама рисует... и ещё у неё есть два кролика... Билл-чёрный и Чарли-белый... Эти кролики...

— Какие кролики? — сказал мой отец. — Чушь какая-то...

— Вот именно, кролики, — сказал старичок.

— Читайте, читайте! — закричали все.

— ...она восхищена... нашими мужчинами... да, да... вот именно, которые сдерживали несметные орды... полчища, вернее... рвавшиеся на нашу землю...

— Это толково, — сказал отец, — очень даже толково! — Он посмотрел на мать.

— ...и ещё она очень хотела бы... да... хотела бы увидеть русскую зиму... и русский снег... и... вот именно... автора этой замечательной картины...

— Увидеть снег, — сказал мой отец, — в Баку? Это невозможно!

На отца опять закричали.

— ...она хорошо учится... в колледже... шлёт привет всем мальчикам и девочкам... Англия... Советский Союз... короче говоря, должны жить в мире... её зовут Олив Нивс...

— Олив Нивс! — сказала моя мама. — Это очень красиво!

— Олив Нивс! — сказал мой отец. — Звучит!

— Олив Нивс! — сказал старичок. — Вот именно.

Потом все ушли очень удивлённые и смотрели на меня, и старичок тоже снял очки, посмотрел на меня и сказал:

— Олив Нивс, милый мой, Олив Нивс!

Я, конечно, не понял, что он хотел мне этим сказать. Я вообще ничего не понял. Я опять стал здорово моргать. Так я, наверное, ещё никогда не моргал, как в этот раз.

Когда все ушли, отец сказал мне:

— Подойди-ка сюда. И не ври. Будь честным человеком. Речь идёт о капиталистической стране. Не увиливай. Выкладывай-ка всё начистоту. Что это значит?

— Ничего не значит, — сказал я. — Откуда я знаю, что это значит?

— Не увиливай, — сказал он. — Выкладывай-ка всё начистоту.

— Чего выкладывать? — сказал я.

— Всё, — сказал он.

— Мне нечего выкладывать, — сказал я.

— Значит, не хочешь выкладывать? — сказал он.

— Оставь его в покое, — сказала мама. — Это его дело. Его разговоры с этой девушкой. Вечно ты в чужие разговоры влезает!

— Девушкой! — закричал отец. — Какой девушкой? Английской?

— Не всё ли равно? — сказала мама.

— У меня никогда не было никаких знакомых английских девушек, — сказал отец.

— Очень напрасно, — сказала мама.

— Ах вот как! — сказал отец. Он размахивал этим письмом. — Капиталистических девушек у меня не было, это верно! И никаких писем из разных там Америк, Англий, Бразилий я не получал!

— Помолчи ты, — сказала мама.

— Ну хорошо, — сказал отец, — хорошо... — Он почти успокоился.

— Вот и хорошо! — сказала мама.

Я потихоньку выскочил во двор.

Я сел на ступеньку и так сидел долго.

На другой день утром мне принесли письмо из «Пионерской правды»:

«Дорогой друг! Сообщаем тебе, что твою акварель «Танки врываются в родной город», присланную на конкурс, мы отослали в Англию на выставку, посвящённую англо-советской дружбе. Желаем тебе творческих успехов!»

Второй «Летучий голландец»

В этот раз я писал на холсте. Кусок мешка я натянул на табуретку. Не очень-то хорошо у меня получилось. Сначала я его на ножки натянул. Так он у меня совсем не натянулся. И я его на днище натянул.

Отец, после этого английского письма, мне краски купил. Целую коробку масляных красок.

— Хотя у тебя и нет метода, — сказал он, — но будем надеяться, что он появится...

— Писать картины лучше на площадке, — сказала мама.

Я вынес табурет на площадку.

Держа в одной руке фанерку с выдавленными красками, а в другой — кисти из собственных волос, я прошёлся по нашей площадке.

— Витя, ты что, художник? — удивился дядя Садых.

— Не мешайте, — сказал я, — это дело серьёзное...

— На нашей площадке самые серьёзные люди живут, — сказал дядя Садых. — Я и Витя — самые серьёзные...

Все расступились. Я подошёл к холсту.

— Я начал писать второго «Летучего голландца».

Уж на этот-то раз я напишу этого «Летучего голландца»!

Соседи говорили:

— Зачем краски-то столько накладываешь?

— Сколько стоит одна такая краска?

— Такую картину на базаре не продашь...

— Не толкайте его, не толкайте!..

— Отойдите от него, отойдите!..

— Не мешайте ему, не мешайте!

— Красиво-то, красиво получается!

— Где красиво получается?

— Кораблик получается!

— Где кораблик получается?

— Глядите! Глядите!

— Не брызгай на меня! (Это я им уже мешать стал!)



— Не махай так своей тряпкой!

— Отойдите, — сказал я, — я должен издали посмотреть.

Я отошёл от картины.

И так и эдак смотрел. Наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Щурился. Складывал пальцы в трубочку и смотрел в дырочку.

Соседи молчали.

Они тоже складывали пальцы в трубочку и смотрели в дырочку.

— А кто его знает, может быть, потом доску прибьют на наш дом. Здесь, скажут, в этом доме, жил знаменитый художник Витя Стариков...

— Как же, прибьют, ждите...

— Если про него прибьют, то про меня тоже прибьют, — сказал дядя Садых.

— Художник — это интересно...

— У меня был брат художник, потом он утонул...

— Художники — они здорово зарабатывают...

— У меня был дядя художник, он себе мотоцикл купил...

— Смотря какой художник...

— Вот только краски пахнут...

...У меня, по-моему, не плохо получилось. Кое-где краски жидко ложились, а кое-где густо. В одном месте прямо настоящее море получилось. Жалко только, не было кобальта фиолетового. Значит, не в каждой коробке бывает кобальт фиолетовый...

И соседи меня хвалили.

Я понёс табуретку в комнату. Я был уверен, что я написал выдающуюся картину.

— Взгляни на себя в зеркало, — сказала мама.

Я взглянул на себя.

Лицо моё было красным, синим и фиолетовым...

Палитры на стенах

— Пройдитесь после уроков по всему городу, — говорил Пётр Петрович, — и сотрите эти палитры!

Это мы с Алькой ходили по городу и мелом рисовали на стенах палитры. А внутри палитры писали:

Витя!
Алик!
Рублёв!
Иванов!
Тинторетто!
Делакруа!
Рафаэль!
Рембрандт!

Мы, конечно, знали, что писать на стенах не очень хорошо. Мы это всё знали. Но как-то не думали.

— Если каждый будет, — говорил Пётр Петрович, — писать на стенах свои имена... Я понимаю ваше желание увековечить себя, так сказать, закрепить свои имена... Несколько преждевременно... не совсем, я бы сказал, благородные порывы... Мне завуч говорит: «Это не ваши там стены разрисовали?» Я говорю: «Нет, это не наши». Я думаю, мы с вами сами в этом разберёмся. Сотрите, пожалуйста, эти палитры...

Потом он сказал всему классу:

— Кругом столько этих палитр... Не так-то легко от них избавиться... Может, ты, Кафаров, поможешь?

Кафаров молчал. Видно было, что он совсем не хочет помогать.

Встала самая маленькая в нашем классе Кира Велимбахова и тоненьким голосом говорит:

— Я помогу.

— Не надо нам помогать, — говорю.

— Тогда сделаем так, — сказал Пётр Петрович. — Каждый, идя в школу или из школы, наверняка встретится хотя бы с одной палитрой. Я вас прошу: сотрите её. Вот и всё. Я и сам это сделаю, когда буду проходить мимо.



— На нашей парадной нарисована такая палитра, — сказала Тася Лебедева.

— Вот, вот, — сказал Пётр Петрович, — ты её и сотри!

— Очень надо! — Тася Лебедева посмотрела на нас. — Они будут рисовать, а я буду стирать?

— Они поняли свою ошибку, — сказал Пётр Петрович, — они всё поняли.

— Пусть сами стирают, — сказал Кафаров.

— Какие вы, ребята! — сказал Пётр Петрович. — Почему я могу стирать, а вы не можете?

— На нашем парадном две палитры нарисовано было, — сказал Костя Шило, — а после их дворник стёр.

— Создают дворникам работу! — сказал Пётр Петрович.

— Пусть староста сотрёт эти палитры, — сказал кто-то.

— Вот ещё! — сказал староста.

— На нашем доме нет никакой палитры, — сказал Киршбаум.

— Ну ладно, — сказал Пётр Петрович. — Хватит. Этот разговор у нас затягивается. Он приобретает нелепый оттенок. Кстати, — он обратился ко мне, — сколько приблизительно этих палитр вы нарисовали?

— Штук сто, — сказал я.

— Может, двести, — сказал Алька.

— Безобразие, — сказал Пётр Петрович. — Форменное безобразие! Вы что же, выходит, не один день их рисовали?

— Не один, — сказал я.

— Каждый день, — сказал Алька.

— И давно вы начали эту кампанию?

— Не помню, — сказал я.

— Не помним, — сказал Алька.

— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Пётр Петрович. — От вас я такого не ожидал...

— Мы сотрём, — сказал я.

— И я так думаю, — сказал Пётр Петрович.

О палитрах больше не говорили.

— Великие мастера любили монументальное искусство! — говорил Пётр Петрович. — Они любили размах. Размахнуться, как говорится... Росписи Рафаэля, Тьёполо, Рублёва, Микеланджело, Тинторетто... Это громадные произведения... запомните их имена!.. Микеланджело! Запомните это имя! У него была кривая шея. Он всю жизнь расписывал потолки и стены, не говоря уже о скульптурах... Попробуйте задрать вот так голову... вот таким образом... и держать её в таком положении. А он именно держал её в таком положении!.. А лежать на спине часами? Лежать на лесах и смотреть в потолок? Это не шутки, я вам скажу! Запомните это имя!..

После уроков мы пошли стирать свои палитры.

Не так-то легко было стереть их. Не стирались они, вот в чём дело. И тряпку мы взяли из класса. И тёрли вовсю. Не стираются! Две палитры мы стёрли. Кое-как стёрли. Два часа тёрли. Во двор бегали. Тряпки мочили. Рисовать-то их гораздо легче было.

— Да ну их! — говорит Алька.

— Неудобно, — говорю.

— И зачем мы их только рисовали! — говорит Алька. Какой-то старик остановился, стоит и смотрит, как мы их стираем.

Смотрел, смотрел, потом спрашивает:

— И сколько вам за это платят?

Мы ему ничего не отвечаем и продолжаем стирать. Он говорит:

— Не хотите ли вы сказать, что вы это делаете бесплатно?

— Мы ничего не хотим сказать, — говорит Алька. — Понятно?

Старик говорит:

— Понятно, но не совсем. — Надел очки и опять стал смотреть. Вдохнул и говорит: — Кажется, я вас с кем-то спутал. — Покачал головой и ушёл.

Он ушёл, какая-то собака стала на нас бросаться. Бросается и бросается, как будто мы её трогаем. Когда мы эти

палитры рисовали, ничего такого с нами не приключалось. Один раз только Альке по шее дали. И всё. За то, что на стенах мажем.

Кое-как хозяин этой собаки её увёл.

Он её увёл, дети стали собираться. Собираются и собираются. «Почему? Отчего? Зачем?» — и разные другие вопросы задают. Здорово они нам на нервы действовали. Алька им кричит:

— Что здесь, цирк, что ли?

Они назад.

Только мы стирать собираемся — они опять вперёд.

— А что, — говорят, — нельзя, что ли?

Алька говорит им:

— Вы что, в школу ещё не ходите?

— Не ходим, — говорят.

— Ходили бы в школу, — говорит, — не околачивались бы тут.

— Это верно, — говорят, — не околачивались бы. — И не уходят.

В это время мне мысль в голову пришла.

— Хотите стирать? — спрашиваю.

Они как заорут все вместе:

— Хотим!

Оторвал я им половину тряпки.

— Вот вам тряпка, — говорю, — стирайте. Задание вам такое даётся.

— Спасибо! — кричат.

Они этого как будто и ждали.

Алик мне говорит:

— Давай им свои тряпки отдадим. Пусть они всё стирают. Пусть они ходят и стирают.

Отдали мы им наши тряпки.

Они так были рады, как будто мы им игрушки дали.

— Как увидите, — говорит Алька, — вот такую палитру, стирайте её немедленно!

— Сотрём! — заорали малыши.

- И другим скажите, пусть тоже стирают.
 - Скажем! — заорали малыши.
 - Ура! — крикнул Алька.
 - Ура! — заорали малыши.
- И мы с Алькой отправились по домам.

Выстрел

- Подходит ко мне на улице Ыгышка и говорит:
- Послушай, хочешь я тебе уши отверну?
- Ни с того ни с сего вдруг подходит. Такие вещи мне говорит. Зло меня взяло ужасное.
- За что? — говорю.
 - Ыгы! — говорит.
 - Чего? — говорю.
 - Художник! — говорит. — Тоже мне, художник!
 - Тебе чего? — говорю.
 - Отверну, — говорит, — уши, и всё. Ыгы.
- Ну чего ему сказать? Совершенно не знаю, чего ему сказать. Смотрю на него и ничего не говорю.
- Свои рисуночки даришь? — говорит. — Ыгы?
 - Какие рисуночки?
 - Сам знаешь! — говорит.
 - Не дарил, — говорю я, — никому никаких рисунков.
- Ыгы, — говорит, — понятно. А Лебедевой тоже не дарил?
- Отстань, — говорю.
 - Ыгы, — говорит, — как раз!
- Я хотел уйти, а он мне дорогу загораживает.
- Клянись, — говорит, — что больше рисунков своих дарить не будешь.
 - Захочу — буду, а захочу — не буду. Какое твоё дело? — говорю.
 - Ыгы, — говорит. — Здесь не ходи. И там не ходи.

Нигде здесь не ходи. А то... Ыгы. Ясно? Не встречайся мне. Ясно? Ыгы.

— Ясно, — говорю.

Что я ещё сказать могу? Ходить, конечно, я здесь всё равно буду. Где же ещё ходить? Негде мне в другом месте ходить. Что же мне, школу из-за него бросать, что ли? Дороги-то ведь другой нету. Глупости он, конечно, говорит. А неприятно. Очень всё-таки неприятно, когда вот такой здоровенный тип на дороге встречается. И завтра встретит. Неприятности у меня, неприятности. Я шёл и думал про эти неприятности. Да только чего тут придумаешь! Не буду же я маме жаловаться. Или там папе. Никому не буду жаловаться. Не люблю я эту манеру — жаловаться.

Так я ничего и не придумал. Иду опять в школу этой же дорогой. Идти мне конечно неприятно. Выскочит сейчас этот тип здоровенный. С этим своим «ыгы». Очень всё это нехорошо получается. Другие люди как-то живут ничего себе. Никто им на дороге не встречается. Ходят они себе спокойно. И ни о чём таком не думают...

В это время мне кто-то гайку в спину кинул. Здоровенную такую гайку. Так по спине трахнули, что я чуть не сел. Хотел я сначала бежать, а потом думаю: «Если я так каждый день бегать буду, ничего хорошего не будет. Такую гайку мне совершенно спокойно можно вдогонку кинуть. Тут беги не беги — всё равно».

В это время этот Ыгы выходит.

— Ыгы, — говорит, — как дела?

А его дружок в это время мне под ноги лёг. Быстро так. Этот тип меня в спину толкнул. Я — сразу в пыль. Стоят они и смеются.

— Не ходи ты здесь, — говорят. — Милостью тебя просим. Нельзя здесь тебе ходить. Не разрешается. Пропуска у тебя нету? Нету. А ты без пропуска ходишь. Ты что, шпион, что ли, без пропуска ходишь?

Разную такую они мне глупость стали говорить. И хохочут оба.

Я поднялся — и трах портфелем по башке этому Ыгышке! Он даже не ожидал. Дружок его почему-то сейчас же убежал. А он меня за руку схватил. «Ну, — думаю, — сейчас он мне даст как следует».

В это время учителя проходили. И он меня отпустил. Я сейчас же, конечно, бегом.

После уроков смотрю во двор. Так и есть — ждёт. А с ним двое. Меня дожидаются. Прогуливаются по двору. Руки в карманах. И на наше окно поглядывают.

Я к ним, конечно, не вышел. Не такой я дурак, чтоб к ним выйти. Я вылез через окно. Пошёл в другой класс. Совсем с другой стороны вылез. Гляжу во двор: ходят они, руки в карманах.

Я вдруг сразу решил, что мне с ним делать.

Замечательный пробочный пистолет лежал у меня дома. Лежал у меня этот пистолет в ящике. Вместе с поломанными, старыми игрушками. Раньше я из него с утра до вечера стрелял. А потом надоел он мне. Из такого пистолета ничего не вылетает. Эта пробка тут же падает после выстрела. Но гремит он здорово. И огонь из дула вылетает, и дым.

Теперь-то я спал спокойно.

А утром положил я этот заряженный пробкой пистолет в карман.

Не успел я на улицу выйти, как он у меня в кармане выстрелил. Дым из кармана вовсю повалил. Какая-то старушка рядом шла, так она чуть не упала со страха.

Пришлось мне домой идти. Новой пробкой заряжать свой пробочный пистолет.

И вот я иду по той же улице. Где мне ходить не положено. Иду без всякого пропуска. Держу одну руку в кармане. И лежит у меня там заряженный пробочный пистолет. И никто не знает, что у меня в кармане. И они тоже не знают. Вон стоят трое. Ждут. Улыбаются. Они о том думают, как будут мне сейчас разные обидные вещи говорить. Про разные там дурацкие пропуска. Про то, что мне здесь ходить не разрешается. Они, наверное, думают, как опять

толкнул меня. И я в пыль полечу. А они будут смеяться. Не знают они, дураки, что́ лежит у меня в кармане!

Я подходил к ним, а они закрыли дорогу. И руки тоже в карманах держат; можно подумать, что у них тоже там пробочные пистолеты. Я подошёл к ним, остановился, пальцем их поманил и говорю:

— Идите, идите сюда...

Они удивились, друг на друга посмотрели и медленно пошли на меня. А я медленно иду назад, а руку держу в кармане. «Только бы, — думаю, — пистолет у меня в кармане не выстрелил, как в тот раз».

Я решил их куда-нибудь в парадное завести и там в них выстрелить. Почему-то мне показалось, что нужно обязательно куда-то завести. Очень уж я был уверен в своём пистолете.

— Идите, — говорю, — идите, не стесняйтесь...

Этот Ыгы говорит:

— Да что с ним разговаривать, ребята, чего он голову морочит...

— Идите, идите сюда, — говорю я, — идите...

«Если, — думаю, — они на меня бросятся, я в них сейчас же выстрелю. Вытащу пистолет и прямо в них выстрелю». Очень я был в своём пистолете уверен!

Нет, они почему-то на меня не бросились. Или они что-то недоброе почувствовали, или ещё что, только они вдруг остановились.

Ыгы говорит:

— Ты что, очумел, что ли?

— Молчи, болван, — говорю.

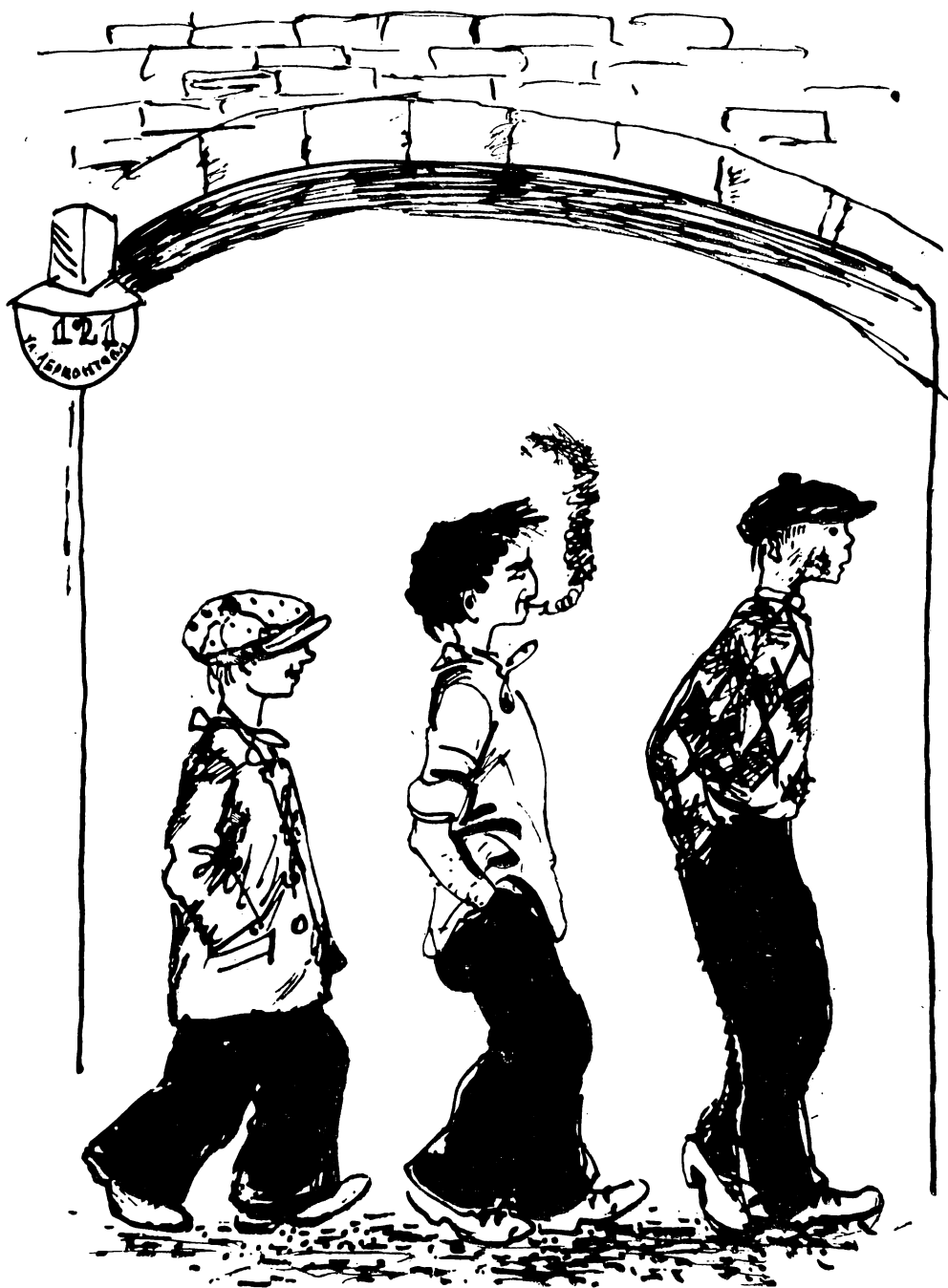
Он прямо опешил.

— Вот это да! — говорит.

— Ыгышка, — говорю, — чёртовая! Кочерыжка! Балаболка! Ыгышка!

Он прямо весь побледнел. Оттолкнул этих своих приятелей и говорит:

— Я с ним сейчас сам разделаюсь. Я ему сейчас его дурацкие уши оторву!



А я ему говорю:

— Ишь ты какой, Ыгышка! Иди-ка ты сюда!

«Если, — думаю, — он на меня сейчас полезет, я в него сейчас же и выстрелю. А так всё-таки лучше его куда-нибудь в парадное затащить».

И я приближаюсь задом к парадному. А он идёт за мной. И лицо у него какое-то странное. Он сам как будто не может понять, в чём дело. Что-то он всё-таки почувствовал. Потому что он не очень-то спешил. Но в парадное он всё-таки зашёл. А дружки его на улице остались.

Я задом поднимался по лестнице, а он за мной поднимался.

— Иди, иди, — говорил я, — иди...

Я всё поднимался, а тут я вперёд шагнул. Навстречу ему шагнул на одну ступеньку. И пистолет свой я вытащил осторожно, чтоб он раньше времени не выстрелил. Он, по моему, даже не заметил, когда я его вытаскивал. Он всё на меня смотрел. И рот свой кривил. Пугал он меня своим кривым ртом, что ли?

Тут я в него и выстрелил.

Ну и грохнул же мой пистолет! Как пушка.

Он так закричал, как будто решил, что он убитый. Лицо у него в этот момент — не объяснишь! Глаза были раскрытые, как будто сейчас выскочат. Я не очень-то на него смотрел в этот момент. Я только о том думал, чтобы мой пистолет выстрелил. Но всё-таки я заметил, какое у него было испуганное лицо.

Потом он повернулся. И выбежал.

Я вышел за ним.

Он бежал что есть духу по улице, а за ним бежали его дружки. Эта улица была длинная. И вверх. Так они мчались по ней как сумасшедшие. Как будто я вслед им ещё стрелять собираюсь. Я им вслед смотрел до тех пор, пока они за углом не скрылись. Они, наверное, и там ещё бежали, честное слово!

Из парадного вышел дядька. Он был в пижаме.

— Что-нибудь произошло? — спросил он.

— Ничего не произошло, — сказал я.
— А почему пахнет? — спросил он.
— Где пахнет? — спросил я.
— Серой пахнет, — сказал он, — и выстрел был. Я слышал.
— Где был выстрел? — спросил я.
— А ты не слышал? — спросил он.
— Я ничего не слышал, — сказал я.
— Странно, — сказал он, — очень странно...
И он ушёл обратно в своё парадное.

Штаны

Мать постирала мои штаны, повесила сушиться над газом, они свалились в огонь и сгорели. Хорошо, что не было пожара! Но я остался без штанов...

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она...

Я стоял в трусах, прислонившись к шкафу, вертел перед носом цепочкой от стенных часов и орал на весь дом это стихотворение.

Мне представились поезда, которые мчатся на север. Паровозы неистово гудят. В одном поезде еду я. Настроение у меня очень радостное. Еду я в первом вагоне и на повороте вижу весь поезд, как он изогнулся дугой. Там, вдали, Алька, Кафаров, Тася... И даже Ыгышка... Они машут мне... А я мчусь на север. Где льды и снег. И напишу картину с северным сиянием...

И снится ей всё, что в пустыне далёкой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горячем
Прекрасная пальма растёт...

...И всё северное ушло куда-то в сторону, поезда помчались в обратном направлении — я еду в обратную сторону. Поезд блесит на солнце, как будто серебряный, и солнечные зайчики прыгают по траве и по виноградникам... И Тася, и Алька, и Кафаров встречают меня, и даже Ыгышка встречает меня со своими друзьями...

Когда стихотворение кончалось, я начинал сначала.

Очень нравилось мне это стихотворение!

Мать пошла покупать мне штаны. А я остался. Я не мог даже с ней пойти, чтобы эти штаны примерить. Не могу же я с ней идти в трусах по всему городу. У меня были ещё штаны. Мать перерыла весь дом, но штаны как будто в воду канули. Как будто они испарились. Были почти новые парусиновые штаны, куда они задевались? Это просто чудо какое-то: куда могли деться мои штаны?

И снится ей всё, что в пустыне далёкой...

...Идут верблюды, и звенят колокольчики, подвешенные им на шею... А пески, наверное, как волны... Громадные такие волны... Ветер дует, и песок стелется по этим волнам...

Какой раз уже я читаю это стихотворение!

Цепочка наматывается на палец и разматывается...

Звенят колокольчики, гудят паровозы, мчатся поезда...

Очень нравится мне это стихотворение!

И вдруг я вспомнил, что из парусиновых штанов мама сшила мне курточку, которая на мне...

Окно

Никогда ещё я не видел такого красивого света в окне. И никогда я не видел такого красивого абажура. Абажур был сиреневый. А лампочка там, наверное, была красноватая. Никогда я не видел такого красивого цвета — это уж точно!

Мы с Кафаровым раза два прошли мимо этого окна. Мы вовсю задирали головы, но так и не увидели там Таси Лебедевой.

Свет из окна освещал деревья. Небо было черно. И дул ветер.

— Может быть, она не там живёт? — спросил я.

— Я-то знаю! — сказал Кафаров.

Почему-то мне стало обидно, что я этого не знаю, а он знает.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Пойдём-ка на ту сторону, — сказал он.

Мы пошли на ту сторону.

Стоя на той стороне, мы вовсю глазели в окно.

— Сейчас она появится, — говорил Кафаров.

— А может, не появится? — говорил я.

— Не может быть, — говорил Кафаров.

— Откуда ты знаешь? — говорил я.

Потом мы сели.

— Мы ведь её сегодня в классе видели... — сказал я.

— Ну и что? — сказал он.

— И завтра увидим, — сказал я.

— Ну и что?

Он даже меня слушать не хотел.

— Гляди-ка! Гляди! — крикнул он.

Там в окне что-то мелькнуло.

— Ты уверен, что это она? — спросил я.

— Конечно!

— А вдруг это её отец?

— Да ну тебя! — сказал он. — Что же, у него в волосах банты, что ли?

— Никаких бантов я не видел, — сказал я.

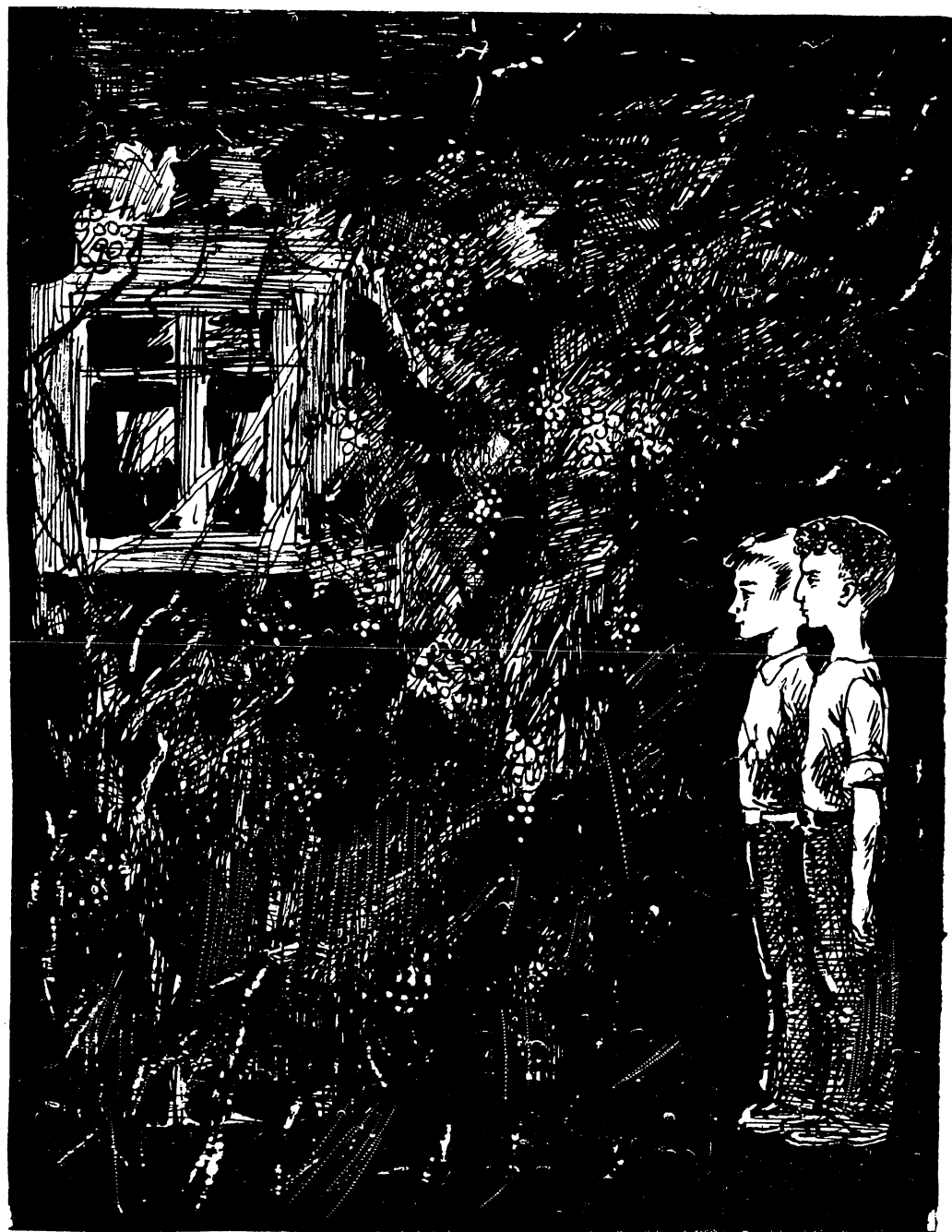
— А я видел, — сказал он.

— Не было бантов. По-моему, там усы были.

— Это были банты, — сказал он. — Два банта.

— Хорошо, — сказал я. — Были банты.

На окно вышла кошка. Она смотрела на нас. Как будто



она специально для этого вышла, чтобы на нас посмотреть.

С соседнего балкона на кошку стала лаять собака. Кошка не обращала никакого внимания на собаку. Она, наверное, понимала, что собака не могла её достать.

— Всё-таки мы её видели, — сказал он.

— Это мы отца её видели, — сказал я.

— Гляди-ка! Гляди, — крикнул я.

Кто-то рукой задел абажур, и он стал слегка качаться. По занавеске заходили тени. Словно вся комната ожила. Вся комната качалась...

— Не видел? — спросил я.

— А ты видел? — спросил Кафаров.

— Не то видел, не то не видел, — сказал я.

— По-моему, я видел, — сказал Кафаров.

— Тень? — спросил я.

— Тень, — сказал Кафаров.

— На занавеске?

— На занавеске.

— А может, это не она?

— Я видел банты, — сказал он.

— Не было там никаких бантов.

Сейчас-то я видел ясно. Ему просто мерещились эти банты!

— Два банта, — сказал Кафаров, — два больших банта...

— Может, это бабушка или мать, — сказал я.

— Сам ты бабушка, — сказал он.

Он был уверен, что это была она. Он в этом был совершенно уверен.

И тут мы её увидели.

Она быстро прошла мимо нас. Перешла на ту сторону. Махнула кошке рукой. И вошла в своё парадное. Два громадных банта качались на её голове...

Записка

Младший сын Петра Петровича укусил собаку. Он пошёл с мамой в магазин. Мама подошла к прилавку. А его отпустила. А около двери сидела собака. Она ждала хозяина. Младший сын Петра Петровича подошёл к собаке и укусил её. Собака страшно завизжала, а малыш испугался и заплакал. Ангелина Петровна закричала: «Уберите собаку! Она укусила моего сына!» В это время какой-то дядька говорит: «Ничего подобного! Собака не трогала вашего сына. Она спокойно сидела. Она никого не трогала. Я видел! Ваш сын подошёл и укусил её!» Все стали говорить, что не может быть, чтобы такой маленький ребёнок укусил такую большую собаку. А тот дядька говорит: «Вы мне не верите? Ах, значит, вы мне не верите? Смотрите, как он это сделал! Он подошёл к собаке, я же видел, граждане! Он подошёл к ней вот так...» И дядька хотел показать, как младший сын Петра Петровича подошёл к собаке. В это время испуганная собака подумала, что с ней хотят что-то сделать, и она, не долго думая, укусила этого дядьку за нос. Дядька страшно заорал, а хозяин собаки говорит: «Зачем вы лезли к собаке? Скажите! Зачем вы к ней лезли? Она вас трогала? Не трогала! Тогда зачем вы к ней лезли?..»

Всё это Пётр Петрович нам рассказывал, и мы смеялись. Пётр Петрович всегда очень смешно рассказывал...

— Если мы возьмём икс, — говорит Мария Николаевна, — если мы возьмём икс!!!

Я смотрю на доску. Совсем не вовремя мне эта история вспомнилась...

В это время рядом со мной записка упала.

Когда Мария Николаевна отвернулась, я прочёл:

«Ты не думай, что я на тебя обижаюсь. Я на тебя совсем не обижаюсь. Я завтра с отцом и матерью уезжаю. И буду учиться в другой школе. Совсем в другом городе. А на тебя я никогда не обижалась. Если бы моего отца в другой город не переводили, я никогда бы, ни за что не уехала...

ТАСЯ».

— ...две тысячи четыреста пятьдесят на тысяча четыреста сорок восемь...

Я ничего не слышу.

— ...Получая три тысячи восемьсот девяносто восемь... делённое... получается... прибавляя... итак... отнимаем...

Я ничего не слышу.

Смотрит на меня Кафаров.

Звенит звонок.

Я подхожу к Тасе.

— Уезжаешь? — спрашиваю я тихо.

— Уезжаю, — говорит она.

— Насовсем?

— Насовсем. — И улыбается. Как будто это хорошо, что она насовсем уезжает!

— Ну... уезжай... — говорю.

Совсем ведь другое сказать хотел.

Она постояла, посмотрела на меня, а потом повернулась и пошла быстро.

Я вслед ей крикнул:

— Это хорошо, что ты на меня не обижаешься!!!

Но она уже, наверное, меня не слышала.

Я хотел побежать за ней.

А потом не побежал.

Не может быть

Пётр Петрович развернул свой завтрак и стал есть яблоко. Кусок хлеба с маслом он положил на подоконник.

Я стоял за стеклянной дверью и тоже ел яблоко. Большой кусок хлеба с маслом я положил на подоконник.

Пётр Петрович поднял кверху яблоко и показал на бутерброд. Он как бы говорил: «Какое совпадение!»

Мы улыбались друг другу, и я вспоминал. Во втором

классе я сочинил стихотворение. Я никак не мог решить, хорошее это стихотворение или нет. И стоит ли его читать? А вдруг это ужасное стихотворение? Вдруг там чего-нибудь есть такое ужасное, что я не вижу? Но в то же время, если я его не прочту никому, я так и не буду знать, что это за стихотворение. А может быть, это замечательное стихотворение? Что тогда? Краснея и волнуясь, я сказал Петру Петровичу: «Я написал стихотворение!» В классе были мы двое. Я специально выбрал этот момент, чтобы никого больше не было. «Это похвально, — сказал он, — прочти!» Я вышел на середину класса. Зачем-то влез на парту. Мне казалось, что стихотворение нужно читать непременно откуда-нибудь с высоты. «Не надо на парту, — сказал Пётр Петрович, — слезь, это вовсе не обязательно». Я растерянно слез. «Читай на полу, — сказал он, — это лучше». Я стал читать:

Шёл по улице портной.
Шёл спокойно, шёл домой,
В это время увидал:
Люди лезут на скандал...

Он вдруг перебил меня. «Куда, куда лезут?» — спросил он. «На скандал», — сказал я тихо. «Зачем?» — он вовсе смеялся. «Лезут — и всё...» — сказал я.

Я не мог понять, почему ему так смешно. Он вдруг прекращал смеяться, спрашивал: «Люди лезут на скандал?» — и опять начинал смеяться. У него даже слёзы на глазах появились.

«Ну, брат, насмешил», — сказал он. Я обиженно молчал. Наконец он спросил: «Сам, значит, написал?» — «Сам», — сказал я. «Сразу видно», — сказал он. «Что, плохо, что ли?» — «Нет, почему же, — сказал он, — смешно... давай дальше».

Дальше читать я не стал. Не хотелось мне почему-то дальше читать это стихотворение.

Мне вспомнился этот случай, и мне показалось, что он тоже вспомнил сейчас этот случай и поэтому улы-

бается. Сейчас-то я вижу, что это плохое стихотворение. Сейчас-то я сам вижу...

Я взял свой завтрак с подоконника и быстро ушёл. А Пётр Петрович остался. Он помахал мне рукой, когда я уходил.

Два урока прошли очень быстро. Я и сам не знаю, отчего это так бывает: одни уроки быстро проходят, а некоторые тянутся.

Я поднимался по лестнице. Шёл в класс на последний урок.

Сзади меня говорили:

— Такие неожиданные вещи случаются не часто...

— Нет, это ужасно... это такая неожиданность...

— Ведь только что...

— В том-то и дело...

— Прямо... знаете... просто... как вам сказать...

— Нет, вы знаете, в это поверить трудно...

— И я, представьте себе, то же самое...

— Вы слышали, говорят, он пришёл домой...

— Что вы говорите! Я этого не знал...

— Очень, очень неприятно...

— Изумительной души ведь человек...

— В том-то и дело... я и говорю...

Я сначала не очень-то слушал, что они говорят. А потом стал прислушиваться.

По коридору неестественно быстро прошёл завуч Пал Палыч.

Пробежали по коридору несколько человек в одну сторону.

Я вошёл в класс.

Кира Велимбахова стояла на стуле и тоненьким голосом повторяла:

— Пётр Петрович умер... Пётр Петрович умер...

Тася Лебедева плакала очень громко.

В класс вошла Мария Николаевна и сказала:

— Тише, ребята, тише... это большое несчастье...

Она так же быстро вышла, как и вошла, и я подумал,

что она могла этого и не говорить. Совсем не обязательно было входить в класс и говорить, что это несчастье. Это и так ведь понятно...

Скрипнула резко дверь, и все повернулись. Это Тася Лебедева выбежала из класса.

Завуч Пал Палыч сказал в дверях:

— Занятия сегодня кончились...

Зачем-то зазвенел звонок не вовремя.

Все стали уходить.

«Этого не может быть, — думал я, — этого не может быть...»

Дома я сказал:

— Пётр Петрович умер...

— Этого не может быть! — сказала мама.

И отец тоже сказал, что этого не может быть.

И отец и мать посмотрели в окно, как будто там, за окном, сейчас пройдёт траурная процессия...

Все траурные процессии проходят мимо нашего дома. Были похороны генерала и похороны композитора. Генерал был убит на войне. Его привезли на родину с войны. Убит он был где-то на западе. Генерала везла на лафете от пушки шестёрка лошадей. И было много всадников, много военных, много народу. Несметное количество венков несли за гробом композитора. Улицы колыхались как море. На балконах, в окнах и на крышах были люди. Гремела музыка, и все шли медленно...

А за гробом Петра Петровича пойдут дети, наш класс и другие классы — вся школа.

Нет, я не пойду...

В день похорон я сбежал.

Я сел на электричку. Помчались за окном дома и виноградники. Я уезжал из города. Поезд мчал меня за город. Я вышел в тамбур. Сел на пол. Мысли прыгали в моей голове как сумасшедшие. Я не знал, куда еду, и просто сидел.

Вся школа сейчас, наверное, идёт мимо наших окон. Весь наш класс. Все идут хоронить Петра Петровича, а я



здесь сижу в этом тамбуре... Я всё хотел встать, пере-
сесть на встречный поезд. И поехать обратно. И всё не мог.
На одной остановке долго ждали встречный поезд. Все
вышли из вагона и ходили по перрону. Я встал и вышел
на перрон.

Я видел, как мчался встречный поезд, я хотел перебе-
жать через пути и сесть на него, поехать обратно.

Но я не сделал этого. Я всё стоял, а когда раздался
свисток, я вскочил в свой вагон и поехал дальше.

Когда поезд вернулся в Баку, я не слез. Люди входили
и выходили, а я сидел.

Опять я поехал из города. Я сидел в углу и не смотрел
в окно, хотя я всегда смотрю в окно. Я смотрел на людей,
но они ведь не знали, зачем я здесь, они и внимания на
меня не обращали...

На одной остановке я сошёл.

Я пошёл к скалам.

Дул ветер, и море было зелёное. Ветер гнал песок, и
море шумело.

Было пусто.

И всё казалось странным. Брезент с одного грибка
сорвало ветром и понесло в море...

Солнце было сильное, и ветер был сильный.

И сильно били волны в скалы...

На обратном пути я выпрыгнул, не дожидаясь, когда
поезд остановится, и вывихнул ногу.

Я еле до дому добрался. Нога у меня распухла
ужасно.

В школу я не ходил несколько дней, всё лежал с вы-
вихнутой ногой. Я считал себя трусом — иначе поче-
му же я тогда не пошёл со всеми хоронить Петра Пет-
ровича?

Я просто трус, вот и всё!

Не мог я видеть мёртвого человека, который вчера был
живой!...

Не бросайте якорей!

Белеют паруса. Рябится море. Солнце жжёт. Качаются слегка деревья. Мы с Алькой сидим на барьере.

— «Не бро-сай-те я-ко-рей», — читаем мы. — «Ос-то-рож-но — кабель»...

— Разве кто-нибудь бросает сюда якоря? — говорит Алька.

— Написано, чтоб не бросали, — говорю я.

— Раз никто не бросает, так нечего и писать, — говорит Алька.

— Если б никто не бросал, наверно бы, не писали, — говорю я.

Мы молча смотрели на море.

— Когда я был ещё маленький, то думал, что якоря просто так бросают. Думал, это старое заржавленное железо и его с корабля бросают. Чтобы эти якоря не валялись на кораблях. А потом я прочёл эту надпись, подумал, потому, наверное, эти якоря бросать не разрешают, что это металлолом. А после я узнал про якоря, и мне было смешно, что я так думал...

— Про якоря я раньше тоже не знал, — сказал Алька. — Я раньше думал, якорями рыбу ловят. Бросят в море якорь, а на него рыба цепляется. Громадная такая рыба. И её вместе с якорем вытаскивают. Как на крючок... Это всё было детство, — вздохнул Алька.

— Самое настоящее детство, — сказал я.

— Помнишь про карусель? — сказал Алька. — Мы с тобой с утра в очередь становились, чтобы эту карусель крутить. Разгонишь её — и катайся. Гармошка играет. С музыкой. И совершенно бесплатно.

— Много было желающих карусель крутить, — сказал я. — Один раз мы с тобой два часа крутились, а потом встали и упали. Лежим, и всё кажется нам, что мы крутимся. А потом встали и пошли.

— Эх, давно это было, — вздохнул Алька.

— В прошлом году, — вздохнул я.

- Даже не верится, — вздохнул Алька.
- Совершенно не верится, — вздохнул я.
- Другие времена, — сказал Алька.
- Совершенно другие, — сказал я.

Мы ещё раз вздохнули. Вдруг Алька спросил:

- Умрёшь за живопись?

Он всегда внезапно что-нибудь такое спрашивает.

— Умру! — сказал я. — За живопись я готов в любую минуту умереть, об этом и спрашивать нечего.

— И я умру, — сказал Алька. — Живопись — это такая вещь, за неё вполне стоит умереть. Помнишь, нам Пётр Петрович про Микеланджело рассказывал? Умрём за Микеланджело? — Он на меня так посмотрел, как будто я за Микеланджело отказываюсь умирать. Да я бы за него сто раз умер, даже не подумав.

Алька это сразу понял и говорит:

- Я так и знал, что ты за него умер бы.
- Конечно, умер бы, — говорю, — что за вопрос!

Мы с Алькой вздохнули, потом он сказал:

— Послушай, если мы умрём, как же мы тогда живописью будем заниматься?

— А зачем нам умирать, — говорю, — нам совсем не нужно умирать.

— В том-то и дело, что не нужно! — говорит Алька.

— Это ты, — говорю, — всё придумал — умирать. Зачем нужно за живопись умирать, не понимаю! Наоборот, нужно больше жить, чтобы больше картин написать.

— Правильно, — говорит Алька. — Абсолютно правильно!

Паруса сверкали в море. Как будто они плясали в воде. Ветер налетал на море, и море рябью несло в нашу сторону.

— А рамы ты выброси, — сказал Алька. — Раз мы будем делать монументальное искусство. Раз мы будем писать на стенах. Как Микеланджело. Размах! Во! — Он развёл руками. — Во! Вокруг небо! Плывут облака. И в облаках картина.

Он уже вовсю орал. Показывал на небо и махал руками.

— В каких облаках? — спросил я.

— В небесных! — орал он. — В небесных!

Если ему чего-нибудь в голову придёт, он думает, другие знают, что ему в голову пришло.

— Я уже поменял одну раму, — сказал я на всякий случай.

— Меняй! Меняй! — орал он. — Все меняй! Картины на домах! Идешь по улице и рассматриваешь картины! Здорово я придумал? Это я только сейчас придумал!..

Он немного отдышался и говорит:

— Вот кто я? Как ты думаешь, кто я?

Я на него удивлённо посмотрел, а он говорит:

— Я — новатор! Я это только сейчас понял.

— Это почему же, — спрашиваю, — ты новатор?

— А потому, — говорит, — что я, можно сказать, первый человек на земле, который подал идею расписать все стены домов...

Я не дал ему закончить и говорю:

— Ведь до тебя Микеланджело писал на стенах...

Он так засуетился, я думал, он сейчас свалится с барьера, и говорит:

— Микеланджело внутри дома писал на стенах, а я снаружи! Ты видел, чтобы Микеланджело снаружи писал? Ты видел?

Очень уж хотелось ему новатором быть!

Я не знал и не видел, писал ли Микеланджело снаружи домов свои картины, но всё равно я не верил, что Алька новатор.

Ужасно ему хотелось быть новатором, просто удивительно! Как будто без этого новаторства прожить нельзя. Живут же люди без этого. Никто им за это ничего не говорит. Пусть он не думает, что он скорее меня новатором будет. Ерунду какую-то придумал, про эти стены... Хотя, может быть, он действительно чего-нибудь придумал? Может быть, только кажется, что в этом нет ничего такого, а на самом деле в этом много чего есть? Может, и вправду

такого ещё никто не придумал — расписывать все дома? Неужели за всё время человечества никому в голову не пришла такая мысль?..

Опять я вспомнил Петра Петровича, и то, что я сбежал тогда, и то, что я трус... Совсем о другом ведь думал, а тут ЭТО вспомнил... И мне стало казаться, что такой человек, как я, никогда не станет новатором, никогда ничего большого не сделает, раз он сбежал... Конечно, Алька скорее станет новатором, и, может быть, он уже придумал то, что никто не мог придумать до него...

Паруса всё так же сверкали. Только их стало больше. И всё вокруг стало как будто ярче. Солнце висело над самой головой. И было жарче.

Я слез с барьера и говорю:

— Пойдём-ка со мной к Петру Петровичу.

Он с барьера не слез, только повернулся ко мне и спрашивает:

— Куда?

Я ему спокойно говорю:

— К Петру Петровичу.

Он на меня раскрытыми глазами посмотрел и говорит:

— Как же мы к нему пойдём, если он умер?

— А мы не к нему пойдём, — говорю, — мы к его семье пойдём.

— К его семье? — говорит Алька.

— К его семье, — говорю.

— Зачем? — говорит Алька.

— Надо, — говорю.

— Сейчас? — говорит Алька.

— Сейчас, — говорю.

Это верно, очень уж я внезапно собрался идти к семье Петра Петровича. Но раз уж собрался, я непременно пойду. Кто меня плохо знает, тот может подумать, что я не пойду туда, куда я собрался. Алька-то знал меня. Он-то знал, что я туда непременно пойду, раз собрался. Приду я к семье Петра Петровича и скажу: «Здравствуйте! Изви-

ните меня, что я тогда не был». Нет, это не годится, это совсем не то... Я скажу: «Здравствуйте! Я очень жалею, что так всё вышло... так произошло... Я пришёл сказать, что я трус... Я испугался, простите меня за то, что я испугался... Я всегда любил Петра Петровича... может быть, больше всех других я любил Петра Петровича...» Что-нибудь такое я скажу... что-нибудь скажу такое, как только откроют нам дверь...

— Ничего не понимаю, — говорит Алька. — Почему нам надо именно туда сейчас идти...

— Надо идти, — говорю, — вот и всё.

А ещё я сказал ему, что он может не идти, если не хочет. Я и сам могу пойти, пусть он не идёт, если ему не надо.

Он руками развёл, и мы пошли.

Когда мы шли, нам Ыгышка встретился. Со своими друзьями. Он стоял на другой стороне улицы, возле кино-театра. Он что-то говорил своим друзьям, а они его слушали, наклонив головы. Можно было подумать, он им что-нибудь умное говорил. Разве мог он им что-нибудь умное говорить, кроме своего «ыгы». Я его много раз видел, как он билетами спекулировал. Поэтому они, наверное, и торчат здесь.

И тут он меня увидел. Он поднял голову и увидел меня на той стороне. Он уже ничего своим друзьям не говорил, а смотрел на меня. Мне показалось, он сначала вздрогнул, а потом каким-то окаменелым стал. Его дружки повернули головы, они хотели узнать, что там Ыгышка увидел. И в этот момент они бросились врассыпную. Как по команде, все бросились в разные стороны. Одну тётку кто-то из них толкнул, и она упала. У неё была сумка, оттуда выпрыгнула кошка и помчалась вслед за этой компанией. Эта тётка сейчас же встала и побежала за своей кошкой. Милиционер стал свистеть в свой свисток, и за этой кошкой, тёткой и всей компанией бросилось несколько прохожих. Они, наверное, думали, что это какие-нибудь воры или ещё что-нибудь такое, раз они бросились бежать и вдобавок милиционер им свистел вдогонку. Скорее всего, никто

ничего не понял. Понять тут трудно было. Один я знал, в чём дело. Но не мог же я им объяснить!

Куда, интересно, несла тётка эту кошку? Может, она её топить несла? Тогда очень даже приятно, что кошка спаслась благодаря этому случаю.

— Чего-то украли, — сказал Алька.

— Наверное, кошку украли, — сказал я. Не хотелось мне ничего ему рассказывать. Во-первых, он не поверит. А во-вторых, не то у меня было настроение, чтобы чего-нибудь такое рассказывать.

— Неужели кошку украли? — сказал он.

— Ты же видел, — сказал я.

Он прошёл немного и говорит:

— Не может быть всё-таки, чтобы кошку украли. Такой скандал из-за кошки? Не может быть!

— Ты же видел, — сказал я.

— Неужели всё-таки кошку украли? — повторял он. Он был очень поражён тем, что украли кошку. На него это здорово подействовало.

Мы подходили к дому Петра Петровича, когда Алька сказал:

— Неужели всё-таки кошку украли?!

Он всё думал об этой кошке.

Я думал совсем о другом.

Я очень волновался, когда звонил.

Старший сын Петра Петровича открыл нам дверь. Он не очень-то удивился, когда нас увидел. Он пригласил нас войти, и мы вошли. Я решил ничего ему не говорить. Я решил всё ЭТО сказать Ангелине Петровне...

Посреди комнаты, прислонённый к столу, стоял холст. Наполовину краска была соскоблена. На полу валялись разноцветные соскобленные ножом куски краски. С холста стекала вода.

Старший сын Петра Петровича размочил холст, чтобы легче было соскоблить краску. Когда холст размочишь с обратной стороны, краска легко слезает. Опять чистый холст. Пиши себе на нём свою новую картину...



Не обращая на нас никакого внимания, старший сын Петра Петровича соскабливал ножом краску. Звук ножа по холсту был глухой и тупой. Лицо у старшего сына Петра Петровича было сосредоточенное.

Я сразу увидел, что это был за холст.

Портрет отца — вот что скоблил он!

Мы растерянно смотрели.

Ведь это был тот самый портрет, который мы с Алькой должны были в будущем «понять и осмыслить»!

Старший сын Петра Петровича продолжал скоблить. Потом он поднял голову и сказал:

— Мамы нету.

Мы всё стояли.

Тогда он сказал:

— Если ты хочешь, я могу тебе вернуть твою раму...

Я молчал.

Он всё скоблил.

Не глядя на нас он сказал:

— Пусть это вас не смущает... Это логически осмысленный шаг художника... Подготовка холста к новой работе...

Мы с Алькой переглянулись. Ведь это был тот самый «шедевр»! То самое «логически построенное композиционное решение»...

Я сразу представил себе, что если бы он написал тогда **НАСТОЯЩИЙ** портрет отца, остался бы он у него на память...

Мы потоптались на месте. Потом попрощались. И вышли.

Он всё продолжал скоблить, когда мы уходили. Мы сами открыли дверь.

...В скверике имени Двадцати шести бакинских комиссаров пронёсся мимо нас с мячом Кафаров. Он даже нас не заметил. Он мчался забить свой гол.

Лестница

Сколько раз я проходил мимо!

Дворец пионеров. Колонны. Скульптуры у входа. Мраморная лестница...

Там, на четвёртом этаже, в окнах видны мольберты. Громадная гипсовая голова смотрит на меня из окна...

Сколько раз я проходил мимо!

Сколько раз мне хотелось подняться! Один раз я уже вошёл в вестибюль. Стоял и смотрел на лестницу. Лестница блестела, а посередине лестницы был ковёр. Мне хотелось подняться. Туда. На четвёртый этаж. Где в окне видны мольберты. Где эта громадная гипсовая голова...

Я стоял раскрыв рот и смотрел на лестницу.

Я не решался подняться.

Ребята поднимались и спускались по этой лестнице. Они так просто ходили по ней! Смеялись и разговаривали. А некоторые бежали. А некоторые прыгали через две ступеньки...

Нет, я не мог подняться!

Я представил себе: я поднимаюсь...туда...на четвёртый этаж...где мольберты... «Ах, это вы! — скажут мне. — Мы ждём вас! Это вы нарисовали Рембрандта на стене? Вы знаете, это замечательно! Мы будем счастливы, если вы...со своей стороны...соблаговолите...заниматься, так сказать, в нашей студии. Таких талантов нам как раз и не хватает». А я скажу: «Пожалуйста, я могу заниматься, мне ничего не стоит...я для этого, в общем-то, и пришёл, собственно говоря...увидел в окне мольберты и зашёл; дай, думаю, посмотрю, что там делается...» А что, если мне скажут: «Ой, господи! Вы видели, какой он нарисовал кошмарный рисунок? И он ещё пришёл сюда! Да он с ума сошёл! Уходите скорее и не мешайте нам работать». Тогда что я скажу? Вот в том-то и дело! Лучше туда не идти. Кто их знает?

Пётр Петрович говорил: «Ребята! Я скоро вести буду студию. Я вас возьму к себе». Но он умер. Конечно, он взял бы меня. Он меня ведь хвалил. Вы помните, как он сказал тогда про мою золотую руку? Он непременно бы взял меня. И Альку бы взял. Но он умер.

А если я сам пойду? Поднимусь на четвёртый этаж. Разве я плохого Рембрандта нарисовал? А «Летучий голландец»? Тогда почему мой рисунок в Англию послали?

И лестница мне не казалась уже такой особенной. Нужно было подняться по ней. Вот и всё...

А если мне только кажется, что у меня «Летучий голландец» получился? И кажется, будто Рембрандт получился? А в Англию, может быть, мой рисунок послали, потому что у них других рисунков не было? А Олив Нивс ведь девчонка... Что они понимают, девчонки!..

Уходит опять эта лестница...

Нет, я не был уверен. Я просто не был уверен. А все те, кто бежали по лестнице, и все, кто сидят сейчас в студии и рисуют, они все, наверное, уверены, раз сидят там сейчас и рисуют. А я иду мимо. Вчера и сейчас, каждый день иду мимо.

Но в то же время разве стал бы я рисовать такого громадного Рембрандта во всю стену, до потолка, если я не уверен? Разве я покупал бы рамы? Зачем мне тогда рамы, если у меня никогда картин не будет? Нет, я был уверен. Я был во всём уверен..

Это всё приходило мне в голову. И уходило. Как эта самая лестница.

И вот я иду опять мимо.

А навстречу мне идёт Мария Николаевна.

— Здравствуйте, Мария Николаевна,— говорю я.

— Здравствуй, Витя,— говорит она. И останавливается.

— Вот это погода! — говорю.

— Отличная погода, — говорит Мария Николаевна.
— Совсем нету ветра, — говорю я.
— У моряков, кажется, говорится: штиль? — говорит она. — На море штиль, не так ли?
— А когда ветер — норд, — говорю я.
— Ах, этот норд, — говорит Мария Николаевна. — У меня в комнате два стекла выбил этот норд...
— И у нас стекло выбил, — говорю я, — одно стекло выбил...

— Как поживаешь, Витя? — говорит Мария Николаевна, как будто мы с ней сто лет не видались. — Рисуешь всё, рисуешь... Нет, у тебя, конечно, есть способности, а когда человек со способностями... ведь это счастье... творческое начало в человеке... искусство — большое дело...

Чего, думаю, она мне про эти способности говорит, я и сам знаю, что у меня есть способности. Вот сейчас мне про искусство говорит, а завтра мне двойку поставит.

А она говорит:

— Нужно непременно развивать свои способности. Способности нужно непременно развивать. Учиться нужно. А как же? Путь к мастерству долг... Я помню, один мой знакомый...

Вовсе мне неинтересно про её знакомого слушать. Я и сам знаю, что способности развивать надо...

— Пойдём, Витя, со мной вот сюда, в этот дом, я тебя познакомлю... Он таких вот ребят учит... в студии... Может быть, и тебе полезно... Ты, кстати, не ходишь в студию?

Мы вошли в это парадное.

И стали подниматься по лестнице.

Ей трудно было подниматься. Она ведь старенькая. И мы поднимались медленно.

Уплывают корабли

Пляшут на сцене джигиты.
Летит оттуда к нам музыка.
Плывут по морю корабли и лодки.
Качаются на привязи швертботы.
Стоит над бухтой громадный памятник Кирову.
Мы с Алькой сидим на крыше. Отсюда нам виден город.
Даже сцена летней филармонии. Даже остров Нарген
вдали.

Небо тёмно-синее и море тёмно-синее. В небе звёзды,
а в море огни.

Алька завтра уезжает в Москву. И будет там жить с родителями. Поступит там в художественное училище. И будет писать мне письма.

А я остаюсь. Буду здесь учиться. Поступлю здесь в художественное училище. И буду писать ему письма.

А встретимся мы в Ленинграде. В самой Академии художеств. Где учились знаменитые художники. Где учился наш Пётр Петрович... Мы встретимся с Алькой в этой академии, обнимемся, потом хлопнем друг друга по плечу и вместе спросим: «Как живёшь?» Потом мы рассмеёмся, оттого что вместе сказали «как живёшь», и спросим друг у друга: «Как дела?» А потом мы с Алькой пойдём осматривать Академию художеств... А потом станем знаменитыми художниками... Как великие мастера...

— Вот этот громадный дом, — говорит Алька, — мы с тобой когда-нибудь разрисуем... Мы с тобой весь город разрисуем...

— И другие города, — сказал я.

С моря раздавались гудки. Они были протяжные и длинные.

— И Тася уехала, — сказал я. И чего это я вдруг про Тасю вспомнил!

— Ну и влюблён же ты в Тасю! — сказал Алька.

— И Кафаров влюблён, — сказал я.

— И я тоже влюблён, — сказал Алька.



Я смотрел на него и не верил. Первый раз слышал я, что он в Тасю влюблён.

— Это правда, — говорит Алька. — Только я никому про это не говорил. Только сейчас говорю. Всё равно. Раз теперь уезжаю.

— Врёшь ты всё, — сказал я.

— Что мне врать? Всё равно уезжаю...

Опять с моря гудки загудели. Сцена филармонии опустела. Концерт, значит, кончился. Сцена ещё светилась, как большой прожектор. Но джигитов уже на ней не было.

Потом сцена потухла. Мы молчали некоторое время. Гудки с моря всю гудели. Как будто много пароходов плыло куда-то...

СОДЕРЖАНИЕ

МОИ ДОБРЫЙ ПАПА	3
ПОЛОСЫ НА ОКНАХ	73
РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ	150

ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Голявкин Виктор Владимирович

ТРИ ПОВЕСТИ

Ответственный редактор
Н. Л. Страшкова.

Художественный редактор
А. В. Карпов.

Технический редактор
З. П. Коренько.

Корректоры К. Д. Немковская и
Л. Л. Бубнова.

Сдано в набор 22/VII 1976 г. Подписано к печати 2/XII 1976 г. Формат 70 x 90^{1/16}. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 15. Усл. печ. л. 17,55. Уч.-изд. л. 11,85. Тираж 150 000 экз. Заказ № 244. Цена 66 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

Голявкин В. В.

Г 63 Три повести. Рис. автора. Л., «Дет. лит.», 1977.

239 с. с ил.

В сборнике переизданы три повести автора о военном и послевоенном детстве: «Мой добрый папа», «Полосы на окнах», «Рисунки на асфальте».

66 коп.

ВИКТОР ГОЛЯВНИН ТРИ ПОВЕСТИ